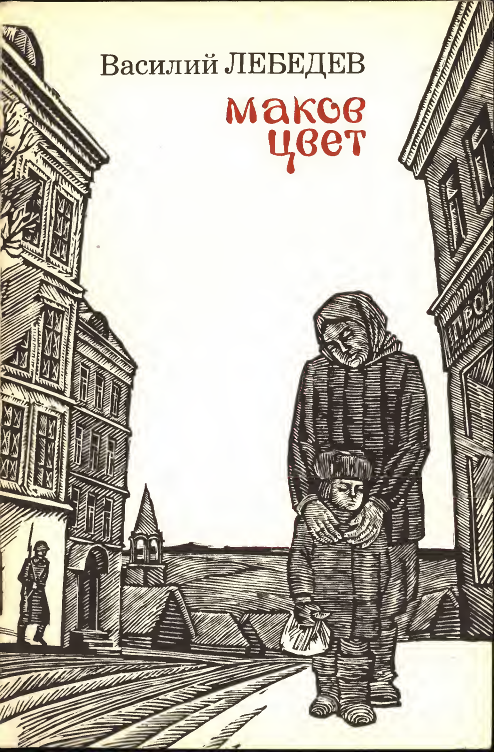


Василий ЛЕБЕДЕВ
маков
цвет

Василий ЛЕБЕДЕВ

Маков цвет

Повесть

Москва
«Современник»
1985

Р2
Л33

Лебедев В. А.
Л33 Маков цвет: Повесть.— М.: Современник, 1985.— 47 с.

В пер.: 20 коп.

Повесть Василия Лебедева — о деревне военных лет, о русской крестьянке Анисье, чье материнское сердце не может равнодушно переносить чужую беду, боль, обездоленность. У Анисьи погибает на войне муж, в блокадном Ленинграде остается дочь, а она, живя впроголодь, берет к себе на воспитание мальчика, оставшегося без родителей.

Л $\frac{4702010200-176}{106(03)-85}$ КБ—4—032—85

ББК84Р7
Р2

Жито кончилось на покров.

Тетка Аинсья выбрала из ларя все до зернышка, высушила на печке и смолола в жерновах. Житникн вышли иа славу. Когда оиа вынимала их из печки, в избу без стука ввалился председатель Ермолай Хромой (его фамилию редко кто помнил) и проковылял прямо в передний угол, к столу.

— Сразу видать, постояльца ждешь,— заметил он.— Эвона какнх насдобила, а плакалась намедни, что нет ни зерниниы. Ой, тетка Анисья!

— Нашлось немного...— покраснела Анисья, будто девчонка, и тут же предложила: — Попробуй, удались ли?

Она безошибочно выбрала самый маленький житник и протянула председателю на своей темной ладони. По весу и по тому, что житник не обжигал руку, как это всегда бывает при недопеках, она поняла: печиво удачно, но все же спросила:

— Ну что?

Когда-то Анисья была большая мастерица стряпать, недаром же она всегда была звана готовить на большие свадьбы и похороны, где и привыкла спрашивать, вкусно ли.

— Угу...— одобрительно кивнул Ермолай, обжигаясь и хрипя, со слезами на глазах.

— Так хороши ли? — уже набиваясь на похвалу, опять спросила она.

— Знамо, хороши! У тебя да худые!

— Яичко тóлкнула,— заметила Анисья, довольная, и, выбрав себе, что был помягче, разломила и стала есть.

— Вкуснота! Как до войны,— опять похвалил Ермолай, подбирая по-лошадиному, губами, торчащий меж зубов кусок житника, и покосился на противень, но Анисья поймала его взгляд, сунула печиво на полицу и тут же подумала: «Сиять бы надо — отпотеют... И чего смотрит, побогачей, чай, меня...»

— Чего хошь в городе-то говорят? — спросила она.

— А ничего не говорят. Калинин взят. Того гляди, сюда придет.

— Господи! — вырвалось у нее.— Да ие мели не дело-то! Никогда не бывал, а тут придет!

— Нас не спросит. У него ероплапов больше чем галок на кладбище. В городе вокзал бомбил — не попал, зато двух лошадей убил, шаблыкинских, кажись. У одной брюхо разворотило. Вонища...

Он наклонил по-бычьи свою сивую маленькую голову, похлопал белесыми ресницами, медленно распрямился и деловым тоном сказал:

— Ну, ты вот чего... умирать собирайся, а рожь сей. Завтра, значит, до обеда дома побудь, а как поразогреет — на лен. Ясно? Да рукавицы не забудь, а то вишь чего?

Он кивнул на улицу, где вдоль деревни по первому сырому снегу резко чернели следы колес, и пошел к двери. У порога он помешкал, взявшись за скобу, вскинул над плечом свое курносое лицо и крякнул, словно похвастал:

— Ух, грязищи-то натащил!

— Да ладно, примоюсь.

Ермолай потоптался еще и наконец выдавил:

— Ну, ты вот чего: зайди-кося к соседке, скажи, я, мол, велел ей завтра ригу топить.

— Ладно, схожу. Скажу.— В голосе Анисьи послышалась усмешка.

Председатель двинул коленом дверь и юркнул в притвор, будто хозяйка запустила в него сковородником. За окошком дважды нырнула его шапка, и вот уже не сбавляя хода он прогарцевал — как говорил деревенский насмешник Степка Чичира — мимо той самой соседки Ольги, которой надо было передать наряд. Сам Ермолай не зашел к Ольге не потому, что замотался, работая за ушедшего на фронт председателя и бригадира, а потому, что накануне его видели с этой самой Ольгой за ометами.

Вчера вечером, когда Анисья возвращалась домой из другого конца деревни, где она хотела выменять свой овчинный полушубок за пуд ржи, она проходила мимо дома председателя и слышала там скандал. Жена Ермолая с визгом кидалась на него. Дрожали стекла, хлопали двери, а за углом дома, в темноте, стояли любопытные. Ей тоже хотелось послушать, но она посовестилась.

«Ох, совсем забыла,— спохватилась Анисья и бросилась к окошку.— Надо бы выговорить у него ржицы за полушубок. Забыла! Ну-кось ты, забыла...» Она с сожалением проводила взглядом председателя и почему-то вспомнила, каким неприметным был раньше этот Ермолай. С детства хромой, он состоял в колхозе при лошадях, женился поздно, в компании к мужикам он как-то не подходил и был настолько запущен, что бабы, случалось, кричали на сенокосе: «Эй, Ермошка! Не поворачивайся, мы купаться будем!» А то и вовсе забывали, что он тут. Поэтому немного странным показалось сначала видеть Ермолая на самой высокой деревенской должности, но время было такое, что люди не успевали переживать даже

горе, и каждый понимал, что Ермолая надо перетерпеть, как бы принять условно до тех пор, пока все в мире не встанет на свои места. Однако Ермолай с каждым днем казался все бодрее и энергичнее, он словно будил в себе все то, что спало многие годы, и наконец всем стало ясно: в деревне остался только один мужик — Ермолай. Правда, был и еще один — Михаил, по прозвищу Одноглазый, но тот весь ушел в валенокатство и старательно, даже зло, наживал добро. Уж ему-то было не до ометов...

«Ну-кось ты, забыла полушубок-то навязать!» — опять засокрушалась Анисья, а сама уже взялась за одежду, чтобы идти к Ольге. Она накинула большой толстый платок, зачем-то глянула в темное зеркало, за которым с прошлой осени, как убили мужа, пылилась черная накидка, старательно застегнула верхнюю пуговицу еще совсем новой плюшевой жакетки — той самой, что подарила ей дочь перед войной, и вышла, дважды хлопнув разбухшей дверью. На крыльце она подняла затоптанный веник и приставила его к двери: хозяйки нет.

На дворе было по-прежнему холодно, сыро. Земля, еще не схваченная морозом, набрякшая осенними дождями, проедала грязью тонкую пелену снега; а за деревней, там, где пожухли и замерли травы, особенно в низине, у моста, снег не таял — было все бело, и только черной трещиной коробился ручей; повсюду пестрели раскисшие следы, а на высоком горбатом поле, как весной, обозначились длинные проталины, но больше не было ничего весеннего ни в природе, ни в душе Анисьи. Она постояла посреди пустынного двора, потопталась в своих красных клееных галошах возле завалившейся воротни и не испытала никакой досады от своей бесхозяйственности.

После гибели мужа и после того, как из Ленинграда, где жила ее дочь, не стали приходить письма, а молва доносила в ее крайнюю избу черные вести о голоде, — Анисья каждый день незаметно и непрестанно теряла интерес к жизни, все больше каменея изнутри. Ей многое стало безразлично.

«Поднять бы надо воротню-то,— между прочим подумала она.— Не то снегу навалит — сопрет. А может, и так...»

Надсадно крикнула ворона, несколько раз, с черного, будто обгорелого, тополя, что рос против избы Степки Чичиры, и лениво полетела к овинам.

«Беды накаркает, провалиться ей!» — опять между прочим подумала Анисья и тут же испугалась своего навета, вспомнив, что Степку через два дня увезут на войну... «Спаси его бог, озорника!» — искренне прошептала Анисья и, горбатясь,

захлюпала к соседке. Следы от ее галош ложились по раскисшему снегу до самого крыльца соседского дома и ватиой рванью расползались за ией.

Соседка Ольга жила одиа. Оиа разошлась с мужем перед войиой, но числилась замужней, поэтому, когда в первую неделю войны убнли ее мужа, на деревне было сказано: «Ну вот, теперь у Ольгн руки развязаиы...» И оиа действительно скорехонько вышла за Алексея Охлопова — мужнка дельиого, интересного, совсем еще молодого, жнвшего с шестилетним сыном Пронькой, мать которого свериулась от крупозного воспалеиия легких, простыв в риге на трепке льна. Когда отца Проньки взяли на войиу, Ольга осталась в доме Охлоповых и как мать покрикивала на мальчишку. Но вот недавио пришло извещеиие, которое скрыли от Проиьки, а еслн бы ие скрыли, то, может быть, мальчнк и понял, что больше не стоит бегать за перелесок, к полустанку, и ждать, когда покажется иа дороге отец... Из далеких деревень ждали родственннков Охлоповых, которые должны были решнть судьбу Проньки и дома, но онн не ехали. Ольга, устав от неопределенности, ушла из дома Охлоповых. На собраннн она сказала, что от Проньки она совсем-де ие отказывается, но кормить его нечем, н собранне решнло, что Пронька будет пока жить у всех подряд на правах подпаска. Деревеиская молва корнла Ольгу, да на том все н осталось, а мальчик стал кочевать из дома в дом после каждого ужииа. Сегодня его ждала Аиисья.

Ольга была дома. Когда вошла Аинсья, она даже не повернула головы н продолжала смотреть мимо косяка, на улицу. Сбоку был вндеи ее орлиный профнль и тоикнй серп белого пробора по черной голове.

— Здравствуй еще раз! — с поклоном сказала Аиисья.

— Здравствуй,— буркиула Ольга в ответ.

— Никак примывалась?

— Нет.

— А чнсто у тебя, иу да ведь топтать иекому: ие семья,— заметнла Анисья без ехидства, но вышло так, что она упрекала Ольгу за оставленного иа мнрскую судьбу Проиьку, и ей тут же захотелось поправить разговор: — Чего хошь про войиу-то слышно?

— А то и слышно, что скоро всех поперебивают! — отрезала Ольга.

— Господи! Сирот-то будет!..

Та поджала губы, помолчала и вдруг сухо спроснла:

— Чего ои к тебе прнходнл?

Аннсья хотела прикинуться, что не знает, о ком речь, ио не хватнло духу иа притворство, и она сказала:

— Велел сказать, чтобы ты завтра ригу топила, лен, видать, сушить иадумал.

— И все? — строго покосилась Ольга, не приглашая Анисью на лавку.— Так чего же ты мялась тут — пол да война?

— Я все сказала, чего тебе еще? — ответила Анисья, уколотая недоверием.

Ольга нервно посучила короткими толстыми ногами, но промолчала.

— А чего это он сам-то к тебе не пришел? — решила задеть соседку Анисья и поняла, что бросилась в драку очертя голову.

— Не хитрила бы, тетка Анисья, коли не умеешь! — сверкнула та орлиным глазом.

— Верно, что не умею...— слабо улыбнулась Анисья, и щеки ее тронулись жаром.

— Тебе чего еще? — не разжимая зубов, процедила Ольга.

— Да ничего боле, пришла сказать, как велено, да и все.

— Ну пришла, сказала и ступай! Нечего тут высиживать, высматривать да выспрашивать!

— Да я разве выпытываю чего?

— Знаю! Всем вам интересно теперь языки-то чесать!

— Век свой, Олюшка, языка не чёсывала, спроси у добрых людей, коли!..

— Сейчас побегу спрашивать! Это ваше дело — спрашивать да охаивать, словно сами святые! Угодницы чертовы!

— Да я не святая, только не сердись, золотко,— дрогнувшим голосом ответила Анисья и, боясь расплакаться, закончила: — Не сердись, но мужиков чужих я за ометы не важивала. Вот тебе мое слово!

И Анисья торопливо перевязала платок, словно собралась бежать. Она всерьез опасалась, что Ольга накинется на нее, но та покосила глазом и скривилась в улыбке:

— Ты что же — прямо посередь деревни?

— Уж не грешила бы, на воскресенье глядя! Посередь деревни! Да, бывало, только пройдешь с парнем посередь-то деревни, так вся горишь, ровно маков цвет, а ты мне такое...

— Ну ладно, ладно, ступай! Мне управляться надо. У тебя нет скотины, так вот и шляндаешь по избам, маков цвет!

— Ой не гордись, Олюшка! Была и у меня силушка, и я не хуже людей хозяйствовала, а сейчас — ау, милая...

Анисья шагнула к порогу, низко поклонилась и, расстроенная, вышла на улицу.

«И зачем послал меня председатель? На грех только навел»,— сокрушалась она и мелко дрожала то ли от волнения, то ли от густой уличной сырости. Из-за ее крайней избы, с

поля, тянуло холодным ветром, пахло стылой землей, снегом. Что-то тоскливо скрипело в сумраке наступающего вечера, и Анисья не сразу поняла, что это скрипит на одном ржавом крюке ее завалившаяся воротня.

Анисья направилась к дому Михаила Одноглазого, у которого сегодня кормился Пронька. После ужина кончались сутки в этом доме, стоявшем на другом конце деревни, и теперь мальчик должен был начать опять с Анисьиного дома, где он проживет до следующего вечера.

«Пойду посмотрю, чем его покормят богачи»,— подумала Анисья и заодно решила предложить Одноглазому полушубок за хлеб.

* * *

Вызвездило. Раскисшую дорогу схватило тонким льдом, а снег на обочине покрылся хрупким и таким звонким настом, что Пронька, суеверно обегая неогороженное кладбище, всерьез опасался, как бы не разбудить страшный кладбищенский сумрак с его корявыми кущами старых берез и эту густую толпу длинноруких крестов, дружно шагнувших к самой обочине. Еще совсем недавно, когда на дороге вместо грязи лежала пыль, теплая и мягкая, как чесаный лен, а дни были длиннее, Пронька не боялся ходить на полустанок. Теперь же дни стали обидно коротки, но как раз сейчас ему и надо бывать у поезда почаще, чтобы не прозевать отца. «К зиме вернусь, и тогда...» — так говорил он в ту последнюю минуту, когда вскрикнул черный паровоз и заголосили бабы. Теперь на полустанке много солдат, они дают Проньке хлеб и все дружно говорят, что видели его батьку, что он уже близко и скоро придет домой. «Ну ясно,— по-взрослому размышлял Пронька.— Зима на носу, значит, скоро...»

Деревня неожиданно надвинулась из тьмы и нависла высокой громадой деревьев, глухими стенами сараев и окраинных изб. Кое-где слабо желтели окна, а в середине деревни не весело и не печально, а как-то словно устало гудели голоса, вполсилы играла гармошка, да негромко повизгивали девки.

По тебе, широка улица,
Последний раз иду.
У тебя, моя хорошая,
Последний раз сижу.

Пронька услышал эту частушку, и что-то тоскливое откликнулось в его зашибленной душонке. Ему впервые показалось, что отец уже прошел свой последний раз по их деревен-

ской улице. Подтрусив к заколоченному родительскому дому, мальчик привычно отворил легкую калитку в огород и тотчас услышал, как хрупнула цепь у собачьей будки. Он остановился. Здесь было все как при отце, и, хотя пришла ночь, он знал, что вот тут, на стене сарая, все еще висят поржавевшие косы, в щелях бревен торчат напильники, а около угла, в поникшей зернистой крапиве, валяется огромный суковатый чурбан. Совсем недавно отец колол на нем дрова...

Отходили мои ноженьки
По здешней стороне.
Относил я русы волосы
На буйной голове.

Это пел Степка Чичира. Голос хриплый, сорванный.

Собака заскулила.

Пронька достал из кармана кусок хлеба, тот, что дали ему солдаты, разломил и подал собаке на ладони.

— Ешь, Жук. Ешь, Жученька...

Ему захотелось забраться в будку, прижаться там к теплому телу собаки, уснуть и не просыпаться, пока не придет настоящая зима. Но тут он вспомнил, что Михаил Одноглазый будет ругаться за опоздание к ужину, и побежал, стуча сапогами по подстывшей уличной хляби. Вот и дом. По красной занавеске прошла тяжелая тень хозяина. Вспомнился его хитрый прищур, ехидная улыбка, грубый голос. Вспомнились и рассуждения отца с мужиками о том, что Михаил Одноглазый специально выколол себе глаз, чтобы не идти на какую-то финскую войну, что недаром его за это «таскали». Пронька не понимал, что это такое, но ему сделалось тоскливо и неуютно. Идти в дом не хотелось, а собачья будка и теплое тело Жука так сильно потянули к себе, что он уже совсем было решил вернуться, выломать одну доску в будке и забраться к собаке, но за углом послышались шаги и со двора вышел человек.

— Пронюшка, ты? — спросила Анисья.

— Я...

— Так иди скорей в избу, ведь тебя ужинать ждали. Может, еще и покормят, слышь? Пойди поужинай,— зашептала она в лицо.— Поешь поболе, да и пойдем спать ко мне. Слышь? А у меня печка натоплена, да и угощу хорошеньким. Ну не бойся, не бойся, не съест нас Одноглазый. Ты хоть вполсыта поешь — и то ладно.

Она мягко подталкивала его в спину.

— Явился! — рявкнул хозяин, но увидев, что малыш не один, осекся и сел на отодвинутую от стены скамью.— Забирайся!

Пронька стащил с головы шапку и забрался за стол прямо

в пальтишке. Он даже не поерзал на скамейке, а сразу опустил голову и затих. Хозяйка с глубоким вздохом принесла в глиняной миске щей, оставшихся от обеда, картошку и ломоть хлеба.

Анисья сидела у порога, но заметила, что хлеб испечен без картошки: ломоть был черен и ноздреват. «А щи жидковаты»,— подметила она про себя, а сама смотрела, с какой жадностью ел Пронька. Над столом торчала только одна сивая головенка, и когда малыш жевал, то казалось, что он вот-вот заденет своим острым подбородком за кромку стола. Ложку он водил быстро, словно совал ее в крапиву, торопливо проглатывал, и рука с ложкой ныряла под стол, на колени. Глаза в этот момент успевали торопливо обежать все вокруг, будто хотели узнать, не сделано ли чего не так.

— А ну марш! — вдруг рявкнул Одноглазый.— Грязищу-то надо обколачивать или нет? А?

Пронька бросился из избы, раскидывая по полу ошметки грязи. Все притихли. На печке притаилась хозяйка, у порога оцепенела Анисья и слушала, как на улице стучат по доскам крыльца Пронькины сапоги.

— Михаил, почто ты этак-то? — несмело спросила Анисья.

— Непочто распускать! И так незнамо кем теперь вырастет. Я сегодня сказал в правлении, чтобы решали на один конец. Вот сидят там Хромой с бабами, думают. А что? Нам сейчас не до сирот, тут сам не знаешь, в какую сторону бежать. А с этим что делать? Раз батьку убили — пусть государство и нянчится.

— Да тихо ты про батьку-то! — испугалась Анисья, расслышав за дверью осторожные Пронькины шаги, а когда тот вошел, ласково сказала: — Ну, поойди, Пронюшка, доешь, чего оставлять-то.

Но Пронька не шел.

— Ну, забирай тогда хлеб-то с собой, не ломайся! — заметила с печки хозяйка.

— Все равно собаке отдаст,— буркнул Одноглазый.— Надо будет убить ее, к лешью, только воет!

— Бери, бери, Пронюшка, хлеб,— подтолкнула Анисья.

Малыш приблизился к столу и взял закусанный кусок.

— Хлебы-те затваривала? — рявкнул Одноглазый на жену.

— Нет.

— А что?

— Мука кончилась.

— Что за лешей, как скоро съели!

Пронька взял со скамейки шапку и отступил к порогу.

— Ну, пойдем, Пронюшка,— позвала Анисья, не желая

больше слушать, как прибедняются Одиоглазые. Богачи мастера иа это.

Однако прежде чем откланяться, она спросила:

— Так полушубок-то возьмете?

— За сколько?

— За пуд ржи.

— А ты знаешь, почем ноие рожь иа рыике? — спросил хозяин.— Тыща пуд! Нет уж, у самих с хлебом худо.

— А ие продашь ли свою жакетку? — спросила хозяйка.

— Жакетку ие продам — память дочеиькина. До свиданья!

На улице стало совсем темио. Пронька сразу же схватился за мягкий Аиисьин рукав и не отпускал его даже тогда, когда глаза привыкли к темиоте и стали различать расплывчатые пятна домов и деревьев. Ои охотио шел к Анисье. Ему нравилась у нее уютная теплая печка, чистый угол с иконами и сама изба, хотя старая и небольшая, но все еще аккуратная, по которой можно было ходить смело и заглядывать во все углы без опаски. Прошлый раз, когда подошла очередь и Проиька ночевал здесь, он даже забирался на чердак, где пахло пылью и рогожками, и смотрел оттуда на чериое горбатое поле, на плотную стену леса за иим, иа грязиую, разъезжениую дорогу, тоскливо поблескивавшую лужами. Он смотрел сверху и думал, что скоро это поле, лес и дорогу покроет сиег, и тогда издали будет виден темиый полушубок отца...

И вот уже выпал снег.

— Пронюшка, ты не озяб? — спросила Аиисья, ощупывая его голую руку.— А ножоики-те не озиобил?

— Нет.

— А поесть-то хочешь?

— Нет,— односложно отвечал он и после каждого вопроса чувствовал, как стынет его тело и хочется есть.

— Пронюшка, а ты маму-то помиишь?

— Угу,— кивнул он, но, припомнив широкое белое лицо какой-то дальней родстввиницы, когда-то няичившей его, он решительно добавил: — Помню.

Анисья ие поверила и вздохнула.

А в другом конце деревни несколько раз глухо хлопнула дверь, раздались голоса ребят и снова заиграла гармошка.

— Сердешные, последиие деиечки догуливают,— проговорила оиа и зачем-то сказала: — А Степка-то у зазиобушки, у Любки, гулял. Она самогон у Одиоглазого покупала, выменивала.

Проиька слушал ее, стремясь проиикнуть своим детским умом во все эти житейские сложиости, и не постигал их, ио ему было очеиь приятно, что с иим говорят.

Они прошли мимо плохо занавешенных окон правления, где под двенадцатилинейной лампой Ермолай Хромой решал с бабами, членами правления, Пронькину судьбу, потом — мимо дома Ольги и поднялись на крыльцо Анисьиного дома.

— Она тебя не била, когда жила у вас вместо матки? — спросила Анисья тихонько и кивнула в темноте на дом Ольги. Потом положила веник под ноги: — Вытри... Али била?

— Нет,— ответил Пронька.— Только за уши больно драла да говорить про это не велела.

— А маткины платья примеряла?

— Примеряла.

— А носить — носила?

— Носила.

— Бессовестная... А вон это, васильково, цветочками-те,— тоже носила?

— Ага.

— Бессовестная. Матке твоей только раз довелось надеть его. Бессовестная, право.

Они вошли в избу, и Пронька ощутил щекой мягкую благодать тепла от русской печки. Он знал, что стоит протянуть руку и приподняться на носки — и можно достать до трех теплых глубоких печурков, в которых надежно просыхают портянки.

— Раздевайся, Пронюшка! — из чулана кликнула Анисья и зажгла коптилку.— Раздевайся да на печь, а я тебе поесть подам прямо туда.

На печке Пронька разворошил старые валенки, фуфайки, пальтушки, дорылся до горячих кирпичей и приник к ним всем своим неухоженным существом. Анисья поднялась с коптилкой на печь, поставила ее на полати, поубавила, чтобы меньше коптел потолок, а потом подала Проньке большой житник, густо посыпанный маком. Сама она поела в полумраке чулана картошки и тоже забралась на печку.

— А ты чего не ешь? — изумилась она.

— А давай вместе.

— Господи...— растерялась Анисья.— Да милой ты мой... Да как он болеет обо мне... Да ну-кось ты, какой ты...

Она все же отломила от его житника кусочек, а когда стала есть, все почему-то хлюпала носом и отворачивалась от малыша.

— Ты куда смотришь? — спросил он.

— Да вот на лук. Лук-то горюк. Все говорят, что большой лук к большому горю родится.

По стене, вдоль печки, висели на жердочке крупные связки лука и темно-коричневые пучки маковых головок.

— А это мак? — спросил Пронька.

— Мак.

— А чего он не высыпается?

— А не шевелишь, так и не высыпается, а вот весной вытряхнем да посеем вдоль огороду — цвету будет!.. Ты поможешь мне сеять? Ну вот и хорошо.

С улицы донеслись голоса и переборы гармошки.

— Некрута в чужую пошли. Побузят останный разочек,— заметила Анисья.— Ой, да никак к иам?

На крыльце играли и топали. Кто-то уже шарил по двери, отыскивая ручку, и наконец она отворилась...

— Тетка Анисья! — заорал Степка Чичира.— Дай-кось водички, горю!

— Да вон возьми, Степушка, в кадке.

В избу ввалилось еще человек семь. Они громыхали огромной жестяной кружкой, кряхтели и благодарно поругивались.

— Степушка, завтра на пазицею-то? — спросила Анисья, с удовольствием вспомнив это слово.

— Завтра,— упавшим голосом отозвался снизу Степка и вдруг махнул рукой: — А все одно! А это кто у тебя там? Пронька? Ну здорово, Пронька! Здорово, милой ты мой, здорово! Сирота ты, сирота круглая, э-эх!..

Степка закинул гармонь за плечо и полез на печь. К Проньке приблизилось его широкое весиушчатое лицо. Пахнуло самогоном.

— Дай-кося я тебя поцелую на прощанье, милой ты мой. Вот так, вот так. Сирота ты... Нну, Пронька, я за твоего батьку десятерым фрицам башки снесу! Нну!..— Он скоркнул зубами и рухнул с печки иа пол — только охнула гармошка.

Допризывники вывалились на крыльцо с приплясом и свистом. Последний сильно хлопнул дверью, так что она отошла и отворилась настежь, а с улицы доносилась Степкина залихватская частушка:

А мы строгали, клали, мазали
Осиново бревио!
А теперь оно, осиново,
Не мазано давно! Оп-ца!

— Тетя Анисья, а зима пришла?

* * *

Проньку сильно взволновали слова Степки Чичиры, которые он сказал про отца. Он также заметил какие-то стран-

ные знаки, что делала Степке Анисья, и в голове его складывалось нечто страшное и определенное, с чем трудно было согласиться и нельзя отогнать.

— Теть Анисья, слышь?

Но Анисья не отозвалась. После того как она закрыла за новобранцами двери, пошептала внизу, у икон, она легла рядом с Пронькой на краю печки и забылась тяжелым сном. Некоторое время в ее усталой голове еще теснились заботы ушедшего дня, мелькали лица, дома, дорога... Потом откуда-то послышался слабый голос Проньки, и все стихло.

Но вот опять — голос и стук. Она уже чувствовала, что ее трогают за плечо, но не было сил открыть глаза, пошевелиться.

— Тетя Анисья, а тетя Анисья! Стучат!

Под окошком кто-то кричал и бил кулаком по раме.

Анисья села, тяжело дыша, нащупала на печном борове гребенку кустарных спичек, отломила одну на ощупь и зажгла коптилку.

— Кого это несет? — прошептала она и, кряхтя, полезла с печки.

Закрывая ладонью желтый язычок коптилки, она вышла за дверь, на мост, и вскоре оттуда послышался говор. Дверь отворилась, и вслед за Анисьей прогарцевал Ермолай Хромой.

— Так чего же теперь делать-то? — шептала Анисья.

— А то и делать: везти, раз такое дело. Правленье решило — тебе везти Проньку. У тебя здоровьишко неважное, потому не отрывать мне здоровую бабу на целый день, когда лен под снегом.

— Да что за спешка — завтра?

— Ты вот чего, Анисья: давай время занапраслину не тяни, а забирай бумаги у меня и готовься. А завтра потому, что в любой час последнюю лошадь, того гляди, в армию отпишут, тогда как нам? Пешком ребенку до города топать, верхом на палочке али сама потащишь его по этакой-то росхляби? А?

Анисье нечего было возразить, и она лишь причитала шепотом, закутавшись в большой платок.

— Чего же с вечера не сказал?

— Долго советовались, а потом Ольгу подымали, ходили вместе с ней Охлопов дом расколачивали да метрики Пронькины искали. Вот они, метрики. Еще Пашка Овдотьин подписывал, наш председатель сельсовета, а теперь уж — все, наподписывался, бедняга...

— Не убит ли?

— Вчерась похоронная была. Баба его на полустанке под поезд норовила броситься... Вот, значит, метрики...

— Господи! Весь народ побьют!..

— Да-а...— протянул Ермолай.— Всех не перебьют. Мы с тобой останемся — и то народ, а ты — весь... Так нет... Ну вот, это, значит, метрики. Это — наша бумага. Вот. А это бумага, что батько убит. Вот и все. Не потеряй. Все это отдашь в городе вместе с Пронькой, а там государство не даст ему сгинуть. Ой! Никак еще свет у Ольги! — Он приник к стеклу, заслонясь ладонями, но разочарованно отпрянул назад: — Э!.. Да это коптилка твоя отсвечивает! Ну, я пошел, а то моя подумает чего... На конюшню сама пойдешь. Упряжь в водогрейке, вот чего.

— Ну вот и увезем, сердешного. А я ровно знала — подорожников ему напекла.

— Вчера он у Одноглазого жил?

— У него. Только мало покормили богачи.

— Худые люди. Худые. Ну, я пошел, а то моя... Не проспи!

Анисья не вышла запереть дверь. Она смотрела, как заколыхалось пламя коптилки, и стала со страхом ждать утра. Она не боялась ни дальней дороги, ни города, ни бомбежки, которая может там быть, ни начальства, с которым придется держать разговор,— она боялась, что утром останется один на один с Пронькой и нужно будет все ему объяснить.

«И чего это председатель привязался ко мне? Пусть Ольга и везла бы, право...»

Она не помнила, сколько времени просидела на лавке. На столе замирало пламя коптилки, выпятив черный кукиш нагара, со стен глухими ямами смотрели окна, а за ними сонно поскрипывала на ветру кряжистая береза. В ушах Анисьи шумело от недосыпа, но она ясно улавливала все звуки, особенно настораживаясь, когда на печке шевелился Пронька, но сама не двигалась, и только когда за лесом вскрикнул ночной поезд, она невольно подумала: «Без четверти четыре» — и посмотрела на ходики. Часы отставали на час. Она знала об этом, но не подводила, остыв ко всему.

Вскоре прошли с гулянья новобранцы, прошли тихо — без песен, без гармошки, тоскливо посвечивая самокрутками, словно шли с похорон. Анисья послушала их шаги, потом оделась, взяла у порога фонарь и отправилась на конюшню.

На улице была непроглядная темь. Экономя керосин, Анисья не зажгла фонарь и шла ощупью, пробираясь вдоль изб, натыкаясь на палисадники и деревья. Кое-где светились окна — в избах, где готовились к проводам на войну,— пахло дымом, печеным и жареным, там собирали последнее, что

было у людей. Анисья знала, кого с чем отправляют — кому зарубили и отварили кур, кому напекли житников, кто после солдатского обеда еще целую неделю будет тянуть по кусочку домашний сыр, кто увезет в заплечном мешке запеченный в ржаном хлебе кусок свинины, прибереженный на черный день, и никто из домашних, даже малые дети, исходя слюной, не посмеют притронуться к этой священной и, может быть, последней еде родного человека... Она шла вдоль деревни и знала, в какой избе какое живет горе. Она видела, как на многих оно уже свалилось полной мерой — и бабы падали замертво на лавки, как и сама она, и истошным криком оглашалась изба. Анисья хорошо понимала их, искренне разделяла их черные дни, но всякий раз, когда приходила весть о гибели кого-то еще, она ловила себя на греховном вздохе облегчения и шла в тот дом, где самой ей становилось немного легче, а потом, ночью, вставала в переднем углу на колени и покаянно шептала перед иконой.

В доме Степки Чичиры хлопнула дверь, и кто-то торопливо пробежал через дорогу.

«К Любке прощаться побежал,— подумала она.— Ну да и пускай помилуются до свету. Только бы без греха...»

Возле дома Охлоповых она провалилась в глубокую лужу и больно упала, подвихнув левую кисть.

— Господи! Какое счастье: рука-то цела! — с радостью прошептала она и зажгла фонарь, сидя прямо на дороге.

За домом Охлоповых в огороде, тотчас проснулся Пронькин Жук и несмело пролаял в темноту.

* * *

Над деревней уже обозначалось утро: на сером небе плоско проступили крыши строений и вершины деревьев над ними — все, что было ниже, еще оставалось слито в одну темную массу, но выезжать в город было не рано, однако запряженная лошадь все еще стояла привязанной к березе у избы Анисьи. В телеге зеленым холмом лежало непримятое сено, под ним — лук, картошка и свекла, все это Анисья решила заодно свезти в город и продать там на станции или обменять на рынке на хлеб. Впереди телеги лежал открыто рулон новых рогож — Анисьино изделие, их тоже можно было предложить в деревнях, через которые предстояло ехать. Там, в деревнях, и она это знала, охотно берут рогожи на пол вместо половиков, девки красят и вешают к постелям вместо ковров, а мужики делают из них злые мочалки. Особо стояла под сеном завязанная кринка маку — подарок сватье. Анисья все это наду-

мала, пока запрягала лошадь, потом проворно все уложила и пошла будить Проньку. Она с трепетом поднялась по приступочкам на печь и негромко окликнула малыша. Он не отозвался. Она позвала его второй раз, громче, но и на этот раз Пронька не подал голоса. Тогда она протянула руку, пошарила под пальтушками и не нашла его.

Мальчишку искала вся деревня. Многие считали, что лошадь надо отдать новобранцам и ехать с ними на станцию, а оттуда на ней же привезти Проньку: он там. Ермолай Хромой, уже набегавшийся по избам, остановился посреди деревни, похлопал белесыми ресницами и высказал собравшимся свое решение, уставясь в дорогу:

— Ну, вы вот чего: берите лошадь, везите новобранцев да поскорей вертайтесь вместе с Пронькой. Он, видать, разговор наш с Анисьей слышал, вот и стреканул на полустанок — дорога не нова.

Анисья побрела к телеге, чтобы выгрузить свой товар, когда с другого конца деревни закричали в несколько голосов. Она оглянулась и увидела Проньку. Его вел за шиворот Михаил Одноглазый. Парнишка не упирался, он едва поспевал за взрослым, торопливо и неуклюже переступая заскорузлыми сапогами. Раза два он споткнулся и повисал, раскидывая руки, а Одноглазый тащил его силой, так что ноги волоклись позади, потом встряхивал и снова вел. Возле лошади он остановился, разрыл сено, потом подбросил Проньку в телегу и, усадив, покачал за голову — крепко ли сидит.

А вокруг судачили:

— Ну и ну!..

— В собачьей будке сидел!

— Сердешный!..

— Всех провел!

— Да гляньте-кось, какой прошной! Ну и прошной, Охлоп!

— Дитятко сердешное...

Одноглазый обколотил ладони, как после пыльного мешка, набычился и зло сказал:

— Это все ее работа! — Он кивнул на Анисью.— Намолола этому сопляку с три короба, наболтала про детдом, вот он и сбежал от нее к собаке!

Анисья вспыхнула, и у нее потемнело в глазах.

— Пойду прикончу эту псину к лешему! — проворчал Одноглазый.— Только воет по ночам, стерва!

Он пронес себя через расступившихся баб и пошел навстречу толпе новобранцев и провожавших.

Анисья вся в слезах забралась в телегу, развернула лошадь и направила ее к дальнему прогону, за которым начинала

петлять дорога в город. Слезы обиды душили ее. Она сидела сгорбившись и опустив лицо к самым коленям, чтобы Пронька, притихший за ее спиной, не слышал и не видел слез.

«От меня — к собаке... От меня — к собаке... Да что я — хуже Ольги, что ли? Что я, какая-нибудь там...»

— Сделай все честь честью! — крикнул Ермолай Хромой и проковылял немного за телегой, но, увидев новобранцев, остановился и притих.

Лошадь Анисьи поравнялась с толпой.

— Тррры-ы! Стой!

Степка Чичира подбежал и остановил лошадь. Лицо его было помято, глаза красные, а под рассеченной верхней губой темнел провал — это минувшей ночью ему выбили в чужой деревне сразу два зуба.

— Тетка Анисья, не реви, не гневи мальца! Пронька, милой ты мой! Прощай, брат... Дай-ко я тебя поцелую. Вот так. Вот так. Может, и не увидимся больше никогда...

Глаза у Степки затеплились влагой. Он стряхнул со спины небольшой чистый мешок, развязал его и достал головку домашнего сыра.

— На, Пронька, держи! Помни Степку Чичиру! Прощай, тетка Анисья! Не кляни, что я тебе летось весь мак потоптал в огороде.

— Прощай, Степа! Чего уж там — мак!.. Себя, смотри, береги, вон матка-то убивается. Не озоруй на войне-то хоть... А иконку-то взял?

— Да взял!

И косолапо побежал от телеги.

Анисья хотела тихонько спросить его про Любку, как, дескать, она осталась, все ли гладко, но Степка был уже далеко.

Когда Анисья с Пронькой переехали мост и лошаденка, напрягая силы, вытянула телегу на высокий берег, в деревне раздался выстрел, а за ним — собачий визг. Пронька метнулся, выронил в сено головку сыра и привстал на коленки. Он смотрел на деревню и увидел правее высокого тополя, поднимавшегося выше ив и берез, крышу отцовского дома, глухую стену их сарая, что смотрела в огород, и человека, выходившего на улицу через распахнутую калитку.

— Жученька...— прошептал Пронька и, не смея реветь, ткнулся лицом в сено.

— Пронюшко, не надо! Проня... Господи!..

Анисья подняла лицо к небу и перекрестилась на желтую полосу восхода.

* * *

— Стегани, сватья, еще стаканчик: все равно война!

— Нет, нет! И так в голову ударило.

Анисья и в самом деле почувствовала легкие приятные толчки в груди и в голове от полного стакана крепкого деревенского пива. Она высиживала в избе своей дальней родственницы, что жила в соседней деревне, не один час и уже посматривала в окно — не пора ли ехать, но Марья ее удерживала, выспрашивала о новостях, угощала, словно в мире не было войны.

— Ты не пялься в окошко-то, не пялься, успеешь! Лошадь привязана, напоена, сено дадено, Пронька твой наелся, на печке спит — чего тебе еще? Али Ермошки Хромого боишься? То-то! Ты лучше скажи-ка мне, как ты это надумала-нагадала сделать? А? Как у тебя на такое дело руки-ноги подиялись? А?

Анисья смотрела на стакан темного, плотного пива, на легкие хлопья потемневшего хмеля, золотившиеся сверху, и не могла ответить этой бойкой сухощавой женщине. Она и сама не могла понять, что же с ней произошло в городе...

...Когда Анисья с Пронькой въехали в свой райцентр, то на первом же перекрестке их остановил маленького роста солдатик в длинной обтрепанной шинели, словно его за полы таскали собаки. Он вертелся посреди разъезженной грязи и помахивал красным флажком. Мимо него прокачались две груженные верхом военные машины с двумя дымящимися черными печками по бокам кабины. Потом со страшной руганью, какой ругались деревенские мужики в распутицу, когда били ложившихся лошадей, на перекрестке надолго застряла кучка солдат. Они облепили низкую длинноствольную пушку с откинутым назад щитом и силились вытащить ее из грязи, но глина плотно всосала колеса. Тогда кто-то заметил лошадь, и несколько человек кинулось к Анисье. Какой-то черный мужик, смахивавший на цыгана, в грязной шинели без ремня первым подскочил к лошади и стал ее ловко распрягать, сверкая белыми зубами.

— Ой, милые! Ой, да куда вы лошадь-то? Да меня ведь убьет Ермолай Хромой!

— Молчи, тетка, не до тебя!

Тут заплакал Пронька, и второй солдат с чирьем на скуле, около уха, не глядя на телегу, бросил:

— Да не нойте вы, отдадим!

И они действительно отдали лошадь, как только вытащили пушку, и даже сами запрягли. Анисья торопливо отъехала от

опасного перекрестка и только тогда оглянулась. На перекрестке снова был затор. Там рубили дерево, мешавшее объезжать по панели; кричали, сигналили машины.

«Эка грязища,— думала Анисья.— А немцы-то чего хошь думают, куды лезут? Да разве им тут пройти, дуракам?»

Мимо тащилась немощная старушонка, закинув руку на спину. Анисья остановила ее и решила расспросить про все. Старушка оказалась боевая, из городских, и громким голосом пояснила, как проехать к детдому, но тут же добавила с неудовольствием, что детдом собирался уезжать, а может, уж и уехал.

— А бомбежка-то сегодня будет? — спросила Анисья старуху.

— Ты на телеге сидишь, дальше видишь, так сама и скажи, летят или не летят! — съязвила та.

— А скажи-ко мне, чего тут делается — отступают наши или наступают? — не отставала Анисья и осталась довольна собой.

— А пес их знает! Не говорят. Молчат да и только.

И старуха пошла дальше, опять закинув руку на спину.

В городе им встретилось много беженцев, некоторые были на подводах. В телегах лежали и сидели ребятишки, серые от пыли и грязи; иногда вместе с детьми лежали связанные по ногам овцы; порой встречались хозяйственные беженцы: за их телегами медленно переступали коровы, раскачивая пустым выменем.

Когда Анисья подъехала к старому купеческому особняку — большому двухэтажному зданию, обшитому тесом,— она сразу поняла, что это казенный дом, поскольку весь забор вокруг него был растащен на дрова. Ей подтвердили, что это и есть детдом. Она остановила лошадь, прислушалась. Из здания доносился тревожный, нестройный гул, как в умирающем улье. Порой из окошек слышался смех, выкрики или надрывный, никого не зовущий плач. Анисья подъехала поближе и увидела на крыльце отбивающегося от взрослых мальчугана. Он ревел, упирался, потому что его пытались втащить внутрь, а сверху, из окошка, торчали головы беспризорников. Они смеялись и плевали на всех, кто был на крыльце.

«Батюшки светы! Да как же тут жить-то?» — изумилась Анисья.

От заднего крыльца дома стремительно бросилась ватага раздетых ребят. Позади всех бежал малыш лет восьми. Они добежали до толстой березы, вблизи которой остановилась Анисья, и в один миг разорвали большой кочан капусты. Поз-

же всех прибежал малыш. Он суетился возле старших, топтался вокруг березы, мелькая полусвалившимися зелеными шароварами, вертел головой, прося то у одного, то у другого, дергал старших за рукава, но никто не обращал на него внимания. Тогда малыш изловчился и в отчаянии выхватил капустный лист у кого-то — и тотчас получил кулаком в лицо. Малыш ткнулся под березу, не выпуская добычу из рук, а кто-то так же двинул обидчика, и компания разошлась, как будто ничего и не было.

Анисья и Пронька видели, как поднялся малыш, пошмыгал носом, потер капусту об живот и стал ее грызть.

У Анисьи от жалости захолонуло сердце.

— Мальчик, а мальчик, поди-ко сюда! — позвала она.

Мальчишка вздрогнул, насупился и недоверчиво приблизился к телеге.

— Вот, возьми! — Она протянула ему свой житник.— Постой. На вот тебе мачку́. Подставляй карман. Вот так. Ешь теперь во здоровье, мак пользительный. Ешь.

У нее больше не было ничего съестного, кроме Пронькиного сыра, но им она не решалась распорядиться, и, как бы спасаясь от взгляда мальчишки, она тронула лошадь и поехала мимо детского дома. Малыш некоторое время шел следом, как очарованный, а потом отстал, повернул обратно и скрылся за березами.

Телега колыхалась по дорожным колдобинам, но Анисья не останавливала ее и старалась не оглядываться на шумный дом, испытывая сложное чувство вины, недовольства собой, жалости к этому развороченному детскому миру, куда она не могла осмелиться сдать Проньку, и потребности сделать сейчас что-то необычное, что еще не прояснилось в ней самой и мучительно требовало решения.

Ей помог Пронька.

— Тетя Анисья, ты чего? А теть Анисья, куда мы теперь?

— А на базар, Пронюшка, да и домой. Куда же еще?

— Домой?

— Да. Какая разница — что здесь, что у меня расти-то. Хочешь у меня жить?

— Каждый день у тебя?

— Каждый день.— Она остановила лошадь и повернулась к нему.— Будем вместе на печке спать, я тебе сказки говорить буду. Мы с тобой хлеба выменяем, житников напечем с маком и будем жить. Ну, ты скажи...

Горло ее перехватило.

— А если Жук живой, он тоже будет у нас жить?

— И Жук, и Жук! — поспешно согласилась Анисья.

— Ясно буду,— улыбнулся Пронька.

Она осторожно привлекла его к себе, потом посадила рядом, а когда вывела лошадь на хорошую дорогу — дала ему в руки вожжи и все никак не могла справиться с легкой дрожью, охватившей все ее тело...

— Анисья? Ты уснула, что ли? Выпей, говорят тебе, да и поговорим. Пиво у меня хорошее получилось. Чего, думаю, одной сидеть так? Дай, думаю, сварю пивца! Ну так как же ты надумала сыном обзавестись?

— А и не знаю сама. В голову мне чего-то пало да и — на!

— А знаешь ли ты хоть, чего ты наделала-то?

— А чего паделала?

— Вот тебе и — чего! Не было у бабы хлопот, так купила порося, вот чего. Ну ладно, пей пиво-то. Хорошее.

— Хорошее,— согласилась Анисья и, отпив, разговорилась: — Я перед самой перед войной, когда гостила у доченьки в Ленинграде, пива пила, покупное.

— Ну и как оно?

— Горечь горькая, а не пиво. Полынь полынью, а хмелю в нем — ни на грош. То ли дело свое!

— Худо ли! А там какое пиво! Обман один, да и только. А я вон жита прорастила молодого, хмелю свежего взяла, нонешнего, вот и пиво. Ну, а чего дочка? Писем нет?

— Нет,— заморгала Анисья и стала утираться подолом.

— Ну не реви, не реви!

— А какая умница была. Слушалась. А последний год самостоятельно работала. Я, грешница, в Ленинграде-то выйду, бывало, на улицу, пройду вдоль домов, сверну два раза за угол да и смотрю издали, как моя доченька работает. Кругом ее народ толпится, а она за лотком так и крутится, так и крутится милая... И всем все улаживает. В люди вышла...

— Ну хватит тебе, сватья! Что ты ревешь как по покойнице? Да, может, все обойдется еще... Скажи-ко лучше, чего там у вас в деревне слышно? Председатель-то, говорят, хромой-то бес... А? Эвона чего отчубучил!

— Да я и не знаю толком,— хотела уклониться Анисья, утираясь опять подолом.

— Вот те раз! Живешь там и не знаешь! Дралась, поди, баба-то его с Ольгой, а?

— Не видала и врать не буду... А чего это у тебя мухи-те доќа живут и не замирают? — спросила Анисья, чтобы сменить разговор.

— Печку жарко топлю, вот отчего.

— Так ведь заедят, смотри чего творится!

Мух у Марьи было — тьма. Они чернели на выбеленной мелом печке, колыхали занавеску, отделяющую чулан от переднего угла, тучей подымались отовсюду, когда их тревожили, и долго гомонились в тяжелом, осеннем гуде, сонно тычась в прокопченные стены и головы людей.

— Не заедят: они скоро замрут. Худо только печку топить. Как стану топить, взбаламучу их — тогда отбою от них нет, проклятущих! Но я уж приноровилась: плесну им молока в большую сковородку — так они все туда роем. И притихнут. Да ты пей, не смотри на пиво-то, еще налью. Пей, говорю, а то и домой не пущу! — в шутку пригрозила Марья.— Да вот картошкой закуси, на сале жарена.

Анисья выпила и второй стакан.

— Вот так бы давно! А скажи-ко теперь мне: клялись, поди, хромуха-та с Ольгой, а? Ну чего ты молчишь? Коли драки не было, значит, клялись.

— Клялись,— сдалась Анисья и махнула рукой.— Ой и клялись — на чем только белый свет стоит!

— Та-ак...— Марья скинула валенок и, довольная, всласть почесала ногу.— Ну, а скажи-ко мне теперь: Одноглазый-то все богатеет?

— Кто его знает! А заказчики издалёка приезжают: он ведь мастер по валенкам.

— А чем берет? Деньгам али хлебом?

— Больше хлебом норовит.

— Так куда ему столько хлеба?

— Хлеб меняет на товары, когда надо.

— Та-ак... А Чичира ушел на войну?

— Сегодня.

— А Любка осталась — ничего?..

— Да кто их знает, Марья?

— А ведь ему нынче ночью два зуба вышибли на гулянье, слышала?

— Нет,— солгала Анисья.

— Вот так раз! Я в стороне живу — знаю, а ты — ничем ничего!

— Мне не до этого: ноги болят.

— Ноги — не уши и не глаза, знать не мешают. Да не смотри в окошко-то, не смотри, еще светло, доедете!

— Да нет уж, пора домой собираться, а то в деревне про нас всего надумаются.

Анисья встала из-за стола, поблагодарила, но Марья опять поинтересовалась:

— Ты в городе была, а к племяннице не заходила? Как там она живет со своим учителем?

— Не была в этот раз.

— А чего ты к ним жить не пошла, ведь они звали тебя в нянькax сидеть?

— Звали. Была я тогда у них, да не осталась... Весь день на службе оба, в школе, а вечером уткнуться в книжки да фаркают носам-те — смешное вычитают. Кругом книжки, ни одной иконки, как только и живут!

Анисья разбудила Проньку и, пока он одевался, предложила Марье купить рогожи.

— На хлеб или на мясо,— добавила она.— У меня, Марья, нет ничего нынче, захворала я, не до скотины.

Марья посмотрела рогожи, и женщины сошлись на двух килограммах соленой свинины. Когда взвешивали сало, Анисья не удержалась и спросила:

— Безмен-то у тебя на фунты?

— На фунты.

— А веревка-то больно толста, черточек не видать.

— Ничего, ничего! Всем, сватьюшка, на этом вешаю. Всем!

Марья проводила гостей, а на прощанье сказала Проньке:

— Ну, парень, теперь тетка Анисья тебе маткой будет. Так и зови ее.

* * *

Телега уже выехала за деревню, а Анисья все думала про последние слова Марьи, и чем дальше думала, тем привычнее становилось для нее еще ни разу не произнесенное Пронькой слово «мама». Она смотрела на Проньку со стороны и находила в его лице какие-то новые черты, которые раньше она просто не замечала. Теперь она знала, что все в этом маленьком человеке — все его привычки, ухватки, веснушки, вся эта рвань на одежонке, скрюченные сапоги, которые должны будут развалиться раньше, чем он дорастет до их размера, цыпковые руки и белесая путаница немытых волос — все будет теперь касаться ее, и не как раньше, когда он жил у нее раз в три недели, а совсем по-иному, по древнему закону жизни, вновь открывшемуся для нее в этом нежном и сильном слове — «мама».

— Пронюшка, а ты будешь меня звать мамой? — вдруг спросила она несмело.

Пронька вскинул белый пушок бровей, наморщил лоб, как-то растерянно посмотрел на Анисью и тут же опустил голову.

«Понимает. Все понимает...» — подумала она и осторожно подавила тяжелый вздох.

Проехали выгон, обнесенный обветшалыми жердями, но они еще прочно держались на дедовской вересовой вязке, и если бы не гниль на столбы — стоять бы еще забору. Телега запрыгала по неперегнившим корням вырубленного ельника, заколыхалась из стороны в сторону, забавляя Проньку и болью отдаваясь в ногах Анисьи. Кругом чернели старые пни и убегали густеющей рябью под самую стену отступившего леса.

— А здесь лес был? — спросил Пронька, и Анисья обрадовалась его вопросу.

— Лес. Большой лес.

Она немного помолчала и тихо заговорила, словно припоминая:

— Ели тут были — густые да высокие. Идем, бывало, с гулянья — я тогда еще девчонкой была — страшно. А когда парни за девчонками-те увязывались — не страшно: они играют на гармошке, а мы поем нешибко. Мама твоя тоже тут хаживала,— неожиданно вымолвила Анисья и вдруг почувствовала что-то вроде легкой ревности к той женщине, своей младшей подруге, которой уже нет, но ее, единственную в мире, Пронька может легко называть матерью, хотя она не может ни обогреть, ни накормить его...

— А то, бывало, под весну, на пасху, соберемся — и в церковь. Дорога мокрая. Другой год, бывало, еще снег лежит меж елок, а мы идем в хороших нарядах — ни живы ни мертвы. И вдруг какая-нибудь из нас: чу, девки! Остановимся, а а где-то уж звонят. Хорошо...

Анисья обхватила руками колени и продолжала говорить. Она знала, что он не все поймет, но было хорошо почему-то, наверно оттого, что вот ей, Анисье Плотниковой, есть что вспомнить и что этот несмышленыш Пронька внимательно слушает ее, молчит и никому не передаст ни слова.

— По этой дороге мой тятенька любил шибко ездить. Лошадь у нас была. Хорошая лошадь. И дом тогда у нас был совсем новый, не то что теперь. И поесть, и одеть было у нас. Все мы трудились, как пчелы, вот и жили не хуже людей добрых. А когда тятеньку убили японцы...

— А зачем?

— Так на войне много убивают, вот хоть взять сейчас у нас в деревне...— Она поняла, что не должна говорить дальше, и торопливо вернулась к начатой мысли: — Как убили его японцы, так и стали мы бедно жить. Хорошая земля ушла за недоимки, ну да бедность — не велика беда, с ней еще жить можно кое-как. Вот мы и жили. Чужого ни у кого не брали, худого ни про кого не говаривали, и нас никто не хаял... Ты,

Пронюшка, отворачивай от ям-то! Вот так, ведь теперь тут не лес — выруб. Это в лесу, бывало, не свернешь, не разъедешься. Раз тятенька ехал на базар в город, овцу вез, а ночь еще была — до свету выехал, чтобы, значит, к началу базара поспеть. Едет вот по этой дороге, а его возьми да и останови в лесу-то верховой, да с ножиком с длинным. Стал верховой тятеньку грабить. Отнял овцу, снял полушубок овчинный новехонький да и ускакал по дороге. Вот вернулся тятенька домой, убивается, а мама — царствие ей небесное! — и говорит ему: да полно, не кручинься, все обошлось, мол, хорошо, не велика утеря — еще наживем, было бы здоровье! А утром, чем свет, едет откуда-то мужик, наш, деревенский, дедушко Степки Чичиры, да и кричит людям на всю деревню, что в лесу человек убитый лежит. Побежали — верно. Лошадь рядом ходит, овечка тятенькина лежит живехонькая, ножки связаны, а на убитом полушубок тятенькин, на один рукав надетый. Сук около убитого валяется, толстенный, а голова у сердешного вся в кровь разворочена. Это он об сук убился. Вот ведь как его бог покарал. Не надо, Пронюшка, людям худого делать...

Анисья приумолкла. Посмотрела, что Пронька утомился, взяла у него вожжи и сразу вернулась из прошлого. Стала думать, как они будут теперь жить вдвоем, что будут говорить люди и как отнесется ко всему этому правление. Пронька лежал теперь на сене животом вниз и смотрел назад.

Вечерело. На темных пустых полях почти не осталось вчерашнего снега — его согнало за день, и только по краям поля, в межах, размытых за лето дождями, да под берегами ручьев он еще белел и стыл, обороняясь коркой на слабом вечернем заморозке. Стороной проплыли редкие деревья, потом стали подступать ближе, как бы примеряясь к дороге и заглядывая в телегу, и вскоре пошел сплошной лес. Сразу стало темней, глуше, и небо, которого не замечали в поле, потянуло к себе из еловой просеки. Раза два по нему чиркнула какая-то птица, а оно все темнело, сжималось в вершинах, и вот уже Пронька увидел на нем, как в той стороне, где остался выруб, закачалась первая звезда.

— Мешок! Мешок проехали! — воскликнул Пронька и вскочил в телеге.

Анисья оглянулась, сощурилась и тоже заметила на дороге мешок. Она тотчас остановила лошадь, слезла с телеги и подошла. Мешок был неполный, но завязанный. Наклонилась, пощупала через мешковину — рожь. Сухая.

— Батюшки светы! Счастьнще-то какое привалило нам! Сказать кому — не поверят: мешок на дороге! Потерял кто-

нибудь,— заметила она спокойнее, но все же вслух решила: — Надо взять, все равно подберут.

Она поволокла мешок к подводе и с трудом взгромоздила его на телегу. Там она положила его вместе с узелком жита, который купила на деньги, вырученные за лук и картошку, и все это прикрыла сеном.

— Вот так. Вот и хорошо теперь. Да за что это нам с тобой такое счастье? Ведь мы с тобой теперь богачи! Картошка у нас есть, лук есть, свинины немного есть, ржи и жита месяца на два с лишним хватит — только живи да радуйся! Напечем хлеба, нажарим картошки — утеха!

Анисья говорила быстро, с одышкой и все оглядывалась назад, словно боялась, что ее догонят. Она то и дело понукала усталую, слабую лошадь, а Пронька, которому тоже передалось волнение, держался за карман Анисьи и тоже понукал лошадь. Вдали, в расступившейся просеке, мелькнуло залеснинское поле, навстречу бежали уже знакомые очертания опушки, когда Анисья заметила скачущую галопом чью-то лошадь в упряжи. Она придержала свою и посторонилась, давая дорогу, но встречная лошадь закинула голову и остановилась. Резко пахну́ло потом.

— Эй! Тетка! Не видала ли ты мешка на дороге? — крикнул со встречной телеги парень лет шестнадцати.

— Тпррру-у!.. Мешка?

Анисья растерянно замигала, и Пронька заметил, что она густо покраснела. А парень мазнул по разгоряченному лицу шапкой, кинул ее в телегу, махнул рукой и стегнул свою лошадь.

— Эй! Эй! Постой-ко! — испуганно крикнула Анисья вслед, а когда тот с ходу развернулся и вновь подъехал к ним вплотную, она виновато сказала: — Тут мешок твой... Ну-кось, Пронюшка, подайся. На дороге валялся.

Парень с радостью схватил мешок и бросил в свою телегу.

— А ты куда едешь? — спросила его Анисья.

— К вам, в Залесье. Рожь везу за валенки.

— Одноглазому?

— Ему,— ответил парень и стал поправлять упряжь.

Анисья казалась виноватой. Она нахохлилась и поторапливала лошадь, радуясь, что парень отстал.

— Ладно, Пронюшка,— негромко бубнила она, видя, что малыш расстроен.— Нам чужого не надо. Он ведь по делу вез зерно, а у нас есть свой узелок.

У самого въезда в деревню парень лихо обогнал их, со свистом пролетев по широкой незастывшей луже. Холодными

брызгами и грязью обдал он телегу Анисьи и даже не оглянулся.

— Вытри, Пронюшка, щеку-то. Пес с ним! Да и то сказать — он ведь не с целью забрызгал.

* * *

Давно Анисье не казалась ее старая изба такой уютной и светлой, давно,— пожалуй, с той поры, как последний раз сидел с ней за столом ее муж. Она прибралась, подмела пол, постелила на стол поверх изрезанной ножом клеенки полотняную домотканую скатерть, а когда поставила над своей коптилкой купленное на рынке стекло и прибавила фитиля — вся горница озарилась непривычно ярким светом. От гудящей плиты, на которой закипала картошка, от расшумевшегося самовара и от самой Анисьи, надевшей чистое вишневое платье и тонкий новый платок, пахнущий нафталином,— исходило тепло и свет. На столе перед Пронькой лежали на чайном блюдце нарезанные ломтики сыра, на другом — огурцы, на третьем — соленые грибы. Житники были нарезаны прямо на стол и лежали рядом с тремя вареными яичками. Из потаенных запасов она принесла в тряпке потемневший, оббитый комок сахару и приготовила чашки.

— Вот тебе, Пронюшка, чашку хозяина: ты мужичок. Ничего, что велика, ты скоро вырастешь и целую выпьешь.

— Я и сейчас выпью! — ответил Пронька весело.

— Ну и во здоровье! Отодвинь пока чашки-то — картошку несу!

Она поставила с краю чугун картошки, откинула тряпку — и пар ударил в потолок. Стекла помутнели и заслезились.

— Ешь, батюшко, ешь досыта! На-ко тебе разваристую, а вот и грибков! Хоть и не рыжики, а есть можно. Ноги у меня нынче болели, так я далеко не ходила, с краю собирала, но все равно грибы не худые. Многие не берут маслят, проходят, а я сама себе думаю: летом ногой лягнешь, зимой — блином макнешь. Ну и собирала. На будущий год вместе пойдем, я места знаю.

Пронька слушал и жадно ел.

— А не заблудимся? — спросил он.

— Не должны.

— А ты блудилась?

— Было раз... Я еще молоденька была. Зашла в лес, да и не выйти. Пойду, думаю, по солнышку. Пошла. А лес все глуше, да в такую чащобу зашла, что заплакала. Вышла я к вечеру совсем в чужую деревню и только там разобралась,

что мне бы солнышко-то надо было держать в левой руке, а я — в правой.

— А много у тебя грибов? — по-хозяйски спросил Пронька.

— Три раза ходила, по мостиночке приносила. Хватит нам с тобой. Проживем.

— Проживем,— подтвердил Пронька.

— А в конце января мы пойдем с тобой к моему крестному в гости, в дальнюю деревню. Он старик богатый, да жадный, всего у него невпроворот — и меду, и масла, и мяса, и хлеба не на один год запас. Один он живет, и в гости к нему можно прийти только раз в году, когда у них в деревне праздник справляют, но зато тогда пей-ешь у него, что хочешь. Ночевать можно только одну ночь, а если остался на вторую, то он уж печку топить не будет и на стол больше не подаст, ешь, что осталось. Ну да и остатков хватает! Наедимся. Как заявимся мы к нему вдвоем — вот днвья-то будет!.. Еще картовинку? Ешь, батюшко, ешь.

Потом они пили чай. Анисья разомлела и опустила платок на плечи, обнажив все еще тугой, чуть стегнутый сединой пучок каштановых волос. Ее скуластое лицо, постаревшие, с синевой, губы и зеленоватые глаза в красных прожилках по белкам — все дышало сердечностью и вниманием к Проньке.

— Когда немцы все замерзнут, винтовки останутся? — вдруг спросил Пронька и поставил Анисью в тупик.

— Так, наверно, останутся... Тебе винтовку охота?

Пронька кивнул и стал колотить яйцом по кромке стола.

— А дом твой старый? — опять спросил он.

— Старый. Дом стоит с тех пор, когда еще и пил-то не было, а когда это было — никто не знает. Теперь и людей-то уж тех не осталось, все умерли. И печка с той поры стоит, не перекладывалась.

— А эта чашка тоже старая?

— И чашка эта исстари. Когда меня привели, она уже тут была, в этом доме.

— Зачем тебя привели?

— А жить...

Стук в окошко, как гром, напугал их.

— Открой! — крикнул с улицы Ермолай Хромой.

— Не закрыто! — ответила Анисья и изменилась в лице.

Пронька почувствовал недоброе, выскочил из-за стола и махнул на печку. Притих. На мосту, уже у самой двери, загромыхали сапогами — обколачивали грязь, потом ввалились двое — председатель и Одноглазый.

— Здорово живешь, Анисья батьковна! — по-начальствен-

ному поздоровался Одноглазый и первый прошел в передний угол.

— Ну, здравствуй, Анисья! — сказал Ермолай и деловой походкой проковылял к столу.

— Доброва здоровья...

— Никак праздник у тебя? Знать хорошо съездила. Так, что ли?

— Хорошо.

— Та-ак...— продолжал Одноглазый вести допрос.— Значит, все хорошо? Та-ак... А детдом разбомбили, что ли?

— Разбомбили, а тебе чего?

Тут Ермолай тоже ввязался:

— Ну ты, Анисья, вот чего: давай рассказывай, как и отчего.

— А чего мне рассказывать?

— Проньку почто назад привезла? Вот чего! Нечего нас тут объегоривать! Эвона его пальтишко висит, а сам, поди, на печи. В городе была?

— Была.

— Детдом нашла?

— Нашла.

— А Проньку почто не сдала?

Анисья смекнула, что про Проньку рассказал Одноглазому тот парень, что привозил ему рожь за валенки, и вместо испуга в ней стала подыматься злость.

— Вот и не сдала! Вас бы туда надо, а не Проньку, вот бы тогда вы по-другому...

— Ты не юляй, не юляй! — опять вмешался Одноглазый со своей рассудительностью.

— А тебя, Михаил, и вовсе это не касаемо!

— Как это — не касаемо?

— А вот так!

— Как это меня не касаемо, если парнишка опять будет теперь по деревне бродяжить, как подпасок? А? Летом пастуха нечем будет кормить, а тут еще он. Не касаемо!

— Не плачь, ребенок не съест твой кусок. Богатей! Пронька со мной будет жить, и все тут!

— Убежит он от нее, как сегодня утром.

— Ладно, Михаил, не позорь меня, не пристанет! А Пронька сыном мне будет и никуда не убежит.

Мужики притихли.

Пронька на печке шевельнулся и притих тоже.

Ермолай уставился в пол, поморгал ресницами, как белыми крышками, и спросил совсем другим, немного виноватым голосом:

— Кормить-то чем будешь?

— Уж как-нибудь перебьемся...

— И почто ты это сделала?

— А почто ты меня посылал? — сорвавшимся голосом воскликнула Анисья и всхлипнула.— Сам посмотрел бы, какие там бегают мальчишонки — голóдны, холóдны, запýщены. Тебе хорошо говорить, а я отдай его в этакой ад из своих-то рук, а потом всю жизнь и будет думаться: где он? Как там ему? Худым вырастет в этакой-то вольнице, так потом меня люди же и осудят. А если батько его придет — сгоришь ведь от стыда, ровно маков цвет...

— Батько убит.

— Приходят и убитые!

Анисья склонилась к коленям и вытерла подолом лицо.

— Ну, ты вот чего: не реви. Ладно,— увещевал Ермолай и, махнув рукавом по отпотевшему стеклу, приник к окошку: нет ли огонька у Ольги.

— Та-ак... Понятно! — встал Одноглазый и с ехидным прищуром высказал: — Значит, сынком обзавелась? Ну, давай, давай! Вырастет — хоть в морду даст, и то ладно!

Озноб прошел по всему телу Анисьи от этих слов. Ей на миг показалось, что все именно так и будет, что никто, даже Пронька, не скажет ей спасибо.

— Ну, ты идешь? — спросил Одноглазый председателя.

— Нет, ступай один.— Я еще наряд ей дам да потолкую.

— Да у соседки покукую! — ухмыльнулся Одноглазый с порога.

— Не твое дело! — отрезал Ермолай, а когда они с Анисьей остались одни, участливо спросил: — А чего это с тобой, как подкосило тебя? Или ты словам его вняла? Плюнь! Худой он человек. Худой. Когда он говорил людям хорошее? Никогда. Дом строишь — подойдет: бревна-то жучком тронуты, развалится! Если крышу кроешь — сунется: потечет, захват дранки мал! Рожь для колхозу сеешь — и тут: не уродится, дождей ноне не жди! Да разве ты его не знаешь! А получается все наоборот. Вот. Ну, а с Пронькой нелегко тебе будет, Анисья, только теперь уж чего говорить... Может, еще и к лучшему так-то. И тебе, глядишь, веселей будет. Скоро, глядишь, и мамой назовет, да так оно и приладится. Вот... Ну, ты вот чего: завтра на лен-то выйди. Мы, если все благополучно, на той неделе закончим.

— Выйду я, Ермолай. Не бегай на мой край, не ломайся. Чайку выпьешь?

— И можно бы, да...

— Выпей да и домой ступай, или к этой тянет?

— Да ну тебя, Анисья...

— Чего нукать-то? Знамо дело! Не мое это дело, только бросил бы ты всю канитель, на что она тебе, эта толстоляха? Постой, не бери эту чашку, эта чашка теперь моего мужичка.

— На печке, что ли?

— На печке,— улыбнулась наконец Анисья, но тут же задумалась и спросила:

— А на трудодень-то надеяться или нет?

— Нет.

— Ничего не дадут?

— Ничего. Семенной фонд почти весь сдаем: война рядом...

— А как же сеять?

— Было бы на чем сеять — государство даст.

Он помолчал, обдумывая что-то, и прошептал ей в лицо:

— Одноглазого бабу снимать буду с кладовщиц: попалась мне ночью с рожью в карманах. Ты, Анисья, заступай на ее место, все горсть какую в валенке принесешь. Никто не узнает, а вы с Пронькой живы будете.

— Что ты, Ермолай! Сроду на такое дело не отваживалась. А ну как попадусь — стыда-то — стыдухи!.. А посадят — с кем останется Пронька? Нет, спасибо, Ермолай. Я ничего не слышала...

Ермолай выпил чашку чая без сахара и ушел. Она проводила его на крыльцо, постояла, послушала, куда пойдет.

Шаги затихли на минуту, а потом опять зашуршали, но уже дальше Ольгиного дома.

* * *

Дней через десять ударил крепкий мороз.

Пронька выбежал утром во двор и зажмурился от яркого солнца. Небо было высокое и необыкновенно голубое. Земля гудела под ногами, а вымерзшие лужи, покрытые, как пеной, звонким, хрупким льдом, были пусты. Над деревней, в легком, прозрачном воздухе, без дела носились веселые галки, и крики их коротким эхом отдавались в лесу.

«Сегодня обязательно назову ее мамой!» — твердо решил Пронька и, почувствовав, что ноги в сапогах начинают зябнуть, побежал домой.

Анисья была на работе. Ему захотелось сбегать в ригу и посмотреть, как там работают, но он вспомнил, что нужно покормить кур, и остался дома. Он любил работать по хозяйству, особенно вместе с Анисьей. Они с ней подняли воротню, сложили поленницу дров, подперли кольями завалившийся

забор, заклеили на зиму рамы и сделали еще массу всяких мелких приятных дел. Анисья хвалилась помощником по всей деревне. Все уже привыкли к тому, что Пронька живет у нее в сыновьях, и только непрестанно допытывались, зовет ли он ее матерью. Пронька уже не звал ее тетей, но еще не мог переломить себя и назвать мамой эту добрую чужую женщину.

Были у Анисьи с Пронькой и враги.

Первый враг — Одноглазый. Он все подсмеивался и открыто ждал, когда Анисья с сыном пойдут по миру. Второй враг — Пронькин — мальчишки. Они совали носы в заборные щели и дразнили, что он собирается звать маткой чужую бабу. Третий, затаенный, враг была Ольга. Она сильно переживала, что Анисья, приняв Проньку, отвергнутого ею, заставила по всей округе говорить о ней плохо. Но в конце концов все понемногу сглаживалось. Анисья уже позабыла, что Ольга, в сердцах, подбила ее курицу, и ни на кого не сердилась.

Анисья пришла на обед вместе с Ольгой. Пронька слышал, как они разговаривали, каждая от своего дома:

— Ольга, тебе не надо ли сена? А то я могу дать в обмен на молоко. У меня хорошее сено, усадебное, да зелено-зелено и на дожде не бывало.

— Возьму,— ответила та.— А сколько просишь?

— Так кринок шесть надо за пуд.

— Дороговато.

— Так ведь нас двое!

— Ну ладно,— потупилась та и ушла в дом.

Анисья радовалась сделке.

— Ну, Пронюшка, теперь мы с молоком на ползимы, коли брать по кринке в день. Теперь бы валенки тебе...

Она такая же радостная ушла на работу и разрешила Проньке самостоятельно промолоть на жерновах миску ржи для завтрашних хлебов.

Жернова были легкие, и Проньке очень нравилось молоть на них. Когда он садился за эту работу и начинал крутить жернов, то чувствовал себя серьезнее, приобщаясь к труду взрослых, чья жизнь, как этот круглый камень, крутится вокруг куска насущного хлеба. Он бы молол, кажется, бесконечно, только бы было зерно, но беда, что зерна у них было мало. Пронька сел на мосту, спиной к двери, что вела на крыльцо, поставил слева миску с рожью, повернул верхний круглый камень вхолостую, потом осторожно всыпал в круглое отверстие в центре камня горсть зерна и заработал. Тогда он всыпал вторую горсть — из-под плоской кромки камня показалась белая теплая масса муки. Этот миг всегда радовал Проньку,

н он с большнм удовольствием взял щепотку муки и положнл ее иа язык.

— Э, иет! Это он мелет. Аиисья, видать, в риге! — услышал Проиька голос Одноглазого.

Ои вздрогнул, огляиулся н увидел еще какого-то старика с косматыми бровями, а за стариком стояла иа крыльце широколицая женщииа.

— Ну, ты чего иасупился? Ведь это дедко твой, двоюродный. А это тоже ие чужая тетка! — пояснил Одиоглазый.

— Проня, а ведь я тебя малеиького ияичила! — сказала жеищииа такнм тоном, словио говорила: а жериова-то мои!

Проиька нспугаино вскочил и убежал в избу, как от цыгаи.

— А чего с ним толковать! Пойдемте к Аиисье, а еще лучше — ко мие. Там окончательио договоримся да и лйдки пить!

Аиисья прншла расстроеиная н все металась по избе, не находя места. В нзбу шел народ. Дверь то и дело хлопала, и входили деревеиские жеищииы, прииосившие непрнятные вести о том, что Проиькииы родствеиинкн продали отцовский дом по дешевке Одиоглазому.

— Хлеба дал им — иа одиом возу увезут. Он старика подпоил, а бабу запугал, что-де иемцы придут, все равио сожгут. А какие иемцы, если их, слышио, остаиовили! — горячо говорила жена председателя — высокая, тощая баба.

— Ты, Аинсья, ие подумай иа меия,— сказала Ольга.— Это ие я их привела. Это все проделки Миханла, он н родствеиииков разыскал для своей выгоды.

— Ай! Одиого вы поля ягоды! — махнула рукой жена председателя.

— К ягодке ие к поганке — каждый тяиется! — отрезала Ольга.

— Да перестаньте вы! — прикрикиул кто-то.

Аиисья сидела на лавке сгорбившись и схватившись руками за кромку, словио хотела встать.

— Когда оии уезжают? — спросила оиа.

— Хлеб грузят, зиачит, сейчас.

— Зиачит, и за Проиькой сейчас придут? — испугаино спросила оиа опять.

— Коиечио, сейчас. Не приезжать же нм еще раз такую даль. Ведь они из Шалова,— ответили Аиисье.

— Из Шалова? Зиаю... Это в той стороие, где мой крестный живет. В тех краях...— слабым голосом говорнла Анисья.

На крыльце раздалнсь шаги, н в нзбу вошлн Одноглазый н дед с косматыми бровями.

— Ну, народ честиой! Помогите отправить парня подобру-

поздорову! Анисья, собери его, чтобы без всякого всего! — покрикивал Одноглазый, а дед только сопел в бороду.

Проньку отправляли всем миром. Почему-то сейчас его жалели все и все пошли провожать. Только Анисья не могла идти в тот конец, к подводе, и осталась стоять у своей избы. Она подперла щеку ладонью и, чтобы скрыть от Ольги свое расстройство, пыталась улыбаться, глядя, как понуро уходит от нее Пронька в своих больших разбитых сапогах, пока густые, крупные слезы не заслонили от нее всю деревню.

* * *

Подростков, молодых баб, даже Одноглазого — всех отправили на лесозаготовки, и обезумевший от безлюдья Ермолай упросил Анисью поработать на скотном дворе. Она без слов согласилась, но месяца через полтора ноги ее от тяжелой работы совсем сдали: открылись язвы. В больнице сказали, что болезнь слишком запущена, что происходит она от тяжелой работы, для леченья необходимо питание, покой, то есть все то, чего не имела Анисья.

Теперь она целыми днями и ночами лежала на печи, засыпая, когда унималась боль, а по ночам, если давали ноги, к ней приходили разные думы, от которых она томилась еще больше.

К январю она отлежалась немного и стала выходить на люди, пробивая тропку в застаревших сугробах, что облегли ее строение. Допоздна она высиживала в чужих избах, а потом возвращалась домой и все думала о дальней дороге, по которой в заветный день она отправится к своему крестному. И день этот наступил.

Она вышла из своей деревни накануне праздника, натощак, и к вечеру добралась до места. До глубокой ночи она стряпала у крестного «всякую всячину» и украдкой поела. В полдень следующего дня пришли трое гостей, все сели за стол, выпили и приступили к еде. Анисья сидела за столом рассеянная, плохо ела с усталости и все почему-то думала о Проньке, с которым собиралась прийти сюда. Показалось, что он у своей далекой родни не обласкан и в голоде, что родные дети той женщины обижают его, а ему не к кому преклонить свою голову.

— Чего это, Анисья, никак у тебя слезы? — спросил крестный.

Это был тощий, но бодрый старик, с красным лицом в благородном окладе круглой белой бородки, с крепким голосом. Глаза его были всегда удивленно раскрыты и блуждали с предмета на предмет,— казалось, он искал пропавшие вещи.

— Слезы? — смутилась Анисья.— Это я так, от выпитого...

Она склонилась к подолу и вытерла лицо.

А немного погодя, когда оборвался какой-то разговор за столом и наступила минута молчания, она неожиданно призналась:

— Крестный, а ведь я чуть было сынком не обзавелась.

Гости крякнули двусмысленно, а тот спросил:

— Это как же тебе угораздило?

Анисья кое-как объяснила.

— Ну и дура была бы! — сказал крестный.

— Дура?

— Конечно дура! Я бы тебя и на порог с ним не пустил!

Анисья хорошо знала своего крестного. Это был человек очень трудолюбивый, все в его большом хозяйстве отличалось порядком, во всем чувствовался верный глаз — в огороде, в саду, на пасеке, во дворе, полном скотины. Все он успевал делать сам, поскольку с женой разошелся еще в молодости. В колхозе он работал кладовщиком и считал, что это не пустое место. Люди завидовали ему и удивлялись его стараниям. Дивилась и Анисья, но сейчас он показался ей особенно необычным и неприятным. «И чего злобу тешит? — думала она.— Сам век свой прожил один-одинешенек, добрища накопил, а для кого?»

— А я, грешная, думаю его к себе залучить...— сказала она и покраснела.

— И не выдумывай! Я тебе хочу корову купить, и будешь жить барыней, а если выдумаешь нахлебником обзавестись — ничего тебе не будет!

Утром, когда гости еще спали, она услышала, что хозяин встал управляться, и тоже поднялась.

— А ты чего? — спросил он.

— Накормлю твою скотину да пойду я, крестный, пожалуй...

— Что так?

— Да пора домой забираться, ведь я уж вторую ночь...

— Ну ладно. Тогда я пойду в правленье покажусь, а ты все сделаешь и тогда поешь, вон там, на столе, под решетом.

Они сухо простились, и он ушел.

Анисья управилась со скотиной, помылась, потом прошла на кухню, нашла под решетом бочок остывшей вареной курицы и завернула его в холстинку. Затем тихонько, чтобы не разбудить гостей, разыскала на полице мед, отломила кусок гибкой темно-желтой соты и положила в большой бокал с отбитой ручкой. «Ладно, не обеднеет...» — думала она, ста-

раясь оттолкнуть стыд, подступивший к ней. Она все же решилась заглянуть в печку и увидела там много всякой еды, сготовленной ею еще вчера. На полках лежали разные пироги — с капустой, с ягодами, с яичками. «Вот бы Проньку сюда, а нет — доченьку!» — мелькнула у нее мысль, от которой навернулись слезы, и ей захотелось взять с собой как можно больше. Однако она осмелилась взять еще только одну ватрушку-преснушку с творогом, но зато пшеничную. Все это она разместила по карманам своей овчинной шубы. Сама она выпила на дорогу вчерашнего топленого молока с пирогом, оделась и ушла, торопясь, чтобы не прощаться с крестным еще раз.

Над деревней уже засинел рассвет, бледнели и тухли огни в избах; женщины неторопливо шли на колодец, морозно похрустывая снегом и Анисья решила спросить у них, как ближе пройти до Шалова.

— Издалека ли? — спросила женщина, растолковавшая ей дорогу.

— Сама-то? Из Залесья. Слыхала?

— Слыхала. А к кому в Шалово.

— К сыночку,— ответила Анисья.

День был голубой, морозный. Снегопадов не было уже с неделю, и потому дорога, наезженная санями, была гладкой и казалась бы совсем легкой, если бы не беспокоили больные ноги. Анисья несколько раз отдыхала, но мороз подгонял, и она снова шла, минуя малознакомые деревни и уточняя дорогу. Когда на взгорье показалось Шалово, она вдруг заробела и сбавила шаг. В деревню вошла осторожно и сразу направилась в ближний двор, где, было слышно, кололи дрова. Молодой парень, раздевшийся до рубахи, лихо рассаживал толстые березовые чурки. Парень показался Анисье знакомым.

— Труд на пользу! — сказала она.

Дровокол остановился и с интересом посмотрел на нее.

— А я тебя признала,— сказала Анисья и освободила лицо от заиндевелой шали.

— Да и я вроде...

— Я из Залесья. Узнал?

— А! Это у тебя я в прошлом году забор сломал в драке?

— У меня.

— Вот я и смотрю... Колья в твоем заборе уж больно хороши.

— Хозяин делал... На войну ушел,— сказала Анисья.

— Ну, понятно... Вот и мне повестка. А ты чего сюда?

— А я по делу. Не знаешь ли, в которой избе мальчик живет, которого от нас привезли осенью?

— Постой, постой...
— Пронькой его зовут.
— Ясно. Пойдем!
Подошли к избе с заснеженной прогнувшейся крышей. Маленькие окошки почти полностью были загорожены соломенной завалиной, а открытое крыльцо, с его тонкими столбами и ступенями, казалось жалким, обглоданным.
— Мне чего-то в дом неохота, ты позови сюда Проню, а я побуду вот тут, за двором.
— Да пойдем!
— Нет. Позови,— умоляюще попросила Анисья, и парень пошел в избу, двинув ногой первую дверь.
Анисья не успела зайти за угол, как выбежал Пронька и как есть — без пальтишка, без шапки — кинулся к ней с с крыльца. На ногах у него были все те же сапоги, а поверх голенищ, через дыры штанов, торчали синие коленки.
— Пронюшка... Пронюшка...
Она распахнула шубу, закутала его с ногами и с головой и занесла за угол. Там она села на дровяные козлы, украдкой поцеловала его в нестриженую голову и совала ему в грязные руки кусок куры, ватрушку и мед. Пронька сразу стал есть, торопливо, жадно. Он, видимо, опасался, что могут отнять.
— Пронюшка... Пронюшка...— повторяла она, жарко дыша ему в затылок, и больше ничего не могла вымолвить.
Скрипнула дверь на крыльцо.
— Эй, тетка! Зайди в избу, дед зовет!
— Сейчас!..
Она вошла в избу вслед за парнем, неся на руках Проньку.
В избе было сумрачно и душно. На полу визжали, сцепившись, двое ребят, третий, поменьше, ревел под столом. Старик лежал на лавке, под иконами, словно собирался умирать. Когда вошла Анисья с попутчиком, он свесил ноги на пол и поднялся, кряхтя и сопя в бороду. Анисья поздоровалась, дед поклонился ей в ответ и притопнул на ребятишек, однако шум не улегся. Тогда парень надавал всем подзатыльников, как своим, и загнал одного на печь, второго на кухню, а меньшого взял за рубашонку и бросил на полати. Малыш вякнул и затих.
— Ну, я пойду,— сказал он после этого и ушел, не простившись.
— Навестить? — прогудел дед, когда дверь за парнем закрылась.
— Навестить. Как, думаю, мой сынок там...— несмело улыбнулась Анисья, давая понять, что тут есть доля шутки.

— Вот смотри, как живем.

— А хозяйка-то где?

— Да ты рассупонься сперва, отогрейся. Садись, в ногах правды нет. А хозяйка в город ушла пособия выправлять на робятишек. Хозяина-то мы оплакали перед рождеством...

Помолчали.

— Проня, ты поделись с ребятками медом, один не ешь.

Пронька послушал и тотчас наделил всех медом.

— Она чего-то поминала про Залесье, что надо, слышь, к вам идти за какой-то бумагой, чтобы и на Проньку, слышь, пособие выжать.

— Бумажки все у меня. Возьмите,— сказала Анисья.

— Скажу. Ладно.

— Скажи, а не отдаст ли она мне Проньку? — спросила Анисья, и лоб ее покрылся испариной.

— Проньку?

— Да. А бумаги пускай она себе забирает. Мне бы Проню. Куда вам столько? И так трое своих. А в школу пойдут — хлопот не обраться, да ведь они не котята — им досмотр нужен, чтобы не хуже людей вышли. Вот ведь чего... Отдайте.

— Да нам разве жалко, коли в добры руки. Только вот хлебушко, почитай, весь ушел...

— Да бог с ним, с хлебом!

— Ну ладно. Скажу ей. Согласится — бери мальца. А он сам-то как?

Пронька подошел и прижался лицом к шубе Анисьи.

Дед кивнул, закашлялся и завалился на лавку.

* * *

— Какого тут лешья носит по ночам?

— Марья, отворила бы...

— Сватья? Да никак ты!

— Я...

— А ты чего — с ума сошла али на ум нашла? Этакая темнища, морозище, а ты шляться выдумала. Заходи скорей! Не тянись!

— Ноги не идут, Марья. Не одолеть эти пять верст до дому, ноги, говорю, не идут.

— Надо бы им идти! Небось полночи с чертом в перегонки бегала.

— Да полно тебе, Марья, про чертей на ночь-то глядя!

— Давай, давай раздевайся!

Марья сама сняла с Анисьи заиндевелую шаль, стащила шубу и схватилась за валенки, но Анисья вскрикнула от боли

и стала потихоньку снимать сама. Марья достала ей с печки старые валенки, теплые, мягкие.

— Ой, как хорошо-то! — прошептала Анисья, откинувшись на стенку усталой спиной, и закрыла глаза.

— Эй! Не спи! Давай рассказывай, куда ходила! Слышишь? А я самовар согрею да картошки тебе наварю. Говори!

— Потом, потом, Марья...

— Э, нет! Давай выкладывай, куда шлялась?

— Сыночка я навестила,— широко улыбнулась Анисья.

— Ой, ой, ой, ой! Видел свет дураков, но таких, как ты, сватья, еще никогда не было! Не было, спроси у кого хошь! Тянет тебя?

— Во сне снится, Марья. Часто, как доченька...

— Чудно! Ну давай к столу двигайся да рассказывай, чего там у вас нового. Как кто живет. Давай!

Но Анисья повалилась на лавку, поджала ноги, чувствуя, как отходит ее усталое тело. Меньше всего ей хотелось сейчас говорить и двигаться.

— Эй, сватья! Да ты никак обалдела — умирать собралась у меня, что ли? Давай поговорим сперва!

— Отстань, а то умру,— сквозь дрему проговорила Анисья.

— Я вот тебе умру! Только наделай мне хлопот! Этого только мне...

Марья брюзжала монотонно и глухо, как за стенкой, потом подложила под голову Анисьи ватник, накрыла тулупом и ушла за занавеску ставить самовар. Там она остановилась в раздумье, потом бросила нащепанную лучину на шесток и полезла спать на печь.

Под утро Анисья проснулась от холода. Она с трудом разогнула ноги, приподнялась с лавки в полной темноте и, еще не сообразив, где она, уронила табурет.

— Ты чего там костоломишься? — спросила хозяйка с печки и зажгла лампу.

— Замерзла.

— Ну давай на печь!

Анисья забралась к ней, и та опять приступила с вопросами:

— Хлеба-то у вас не дадут?

— Не дадут,— вздохнула Анисья.

— А авансу сколько было?

— По пятьдесят грамм.

— Ну, это еще хорошо. А ты слышала, немца расколошматили наши? Да! Тут я в городе одного инвалида расспрашивала, так он мне все расписал, как там было. Говорил, одних пленных взято больше, чем у нас в пяти районах жи-

вет, а что наубивали — не сосчитать! Вот как им, паразитам, дали! А у вас в деревне больше убитых нет?

— Есть.

Анисья перечислила, и женщины замолчали.

— Ну расскажи теперь, как там Одноглазый живет? Небось в новый дом перебрался?

— Еще не переходил.

— А старый-то сыну отпишет?

— Сыну, если живой вернется: писем давно нет. Ты потуши, Марья, лампу-то, поспим еще немного.

— Да когда спать, скоро вставать надо, печку топить, а ты спи до завтрака, потом поговорим.

Она еще немного полежала, но не добившись от гостьи разговора, встала и пошла к печке щепать лучину. Потом она разбудила Анисью к завтраку и все расспрашивала обо всем и обо всех с подробностями.

Анисья ушла от нее, когда уже совсем рассвело.

— Так мы с тобой и не поговорили, сватья, по настоящему-то! — сожалела Марья, прощаясь.

Анисья стояла на дворе, уже завязанная по самые глаза шалью, но мысль, не дававшая ей покоя, удерживала ее, и наконец сама Марья спросила:

— Ты чего?

— Марья, ты приди-ко ко мне на днях, дело есть.

— Что за дело?

— Придешь — узнаешь.

— Да не дури, сватья, говори!

— Нет уж! Придешь — скажу.

— Ладно, приду. Надо посмотреть заодно, как там живет Залесье, а то давно не бывала у вас.

Анисья поклонилась ей в пояс и пошла.

* * *

Марье не терпелось: она прибежала на следующий день, с утра. Войдя в деревню, она уже узнала, что Анисья сильно расхворалась с дороги, но в дом к больной не спешила, расспрашивала всех о новостях.

Через зимние рамы и закрытые двери, на печке, Анисья слышала высокий голос Марьи и с нетерпением ждала ее. Наконец она вошла в избу, деловито, как домой.

— Эй, умирающая! Ты где?

— На печке,— слабо простонала Анисья.

— Ну, что у тебя за дело?

— Разденься, Марья.

— Да разденусь. Ну, что за дело?

— Помоги мне, Марья, век тебя не забуду... Надо мне валенки выменять. Маленькие.

— Проньке?

— Ему.

— У Одноглазого?

— Да. Он как раз с лесозаготовок приехал вши стряхнуть да за едой, дня на два.

— А на что менять?

— На жакетку, на плюшевую. Доченькин подарок, помнишь?

— На жакетку? Да ты и верно дура, сватья! Да разве можно отдавать жакетку за одни валенки, да еще за маленькие?

— Так с ним разве сговоришься...

— Давай я пойду. Где жакетка?

— В сундуке.

Марья достала жакетку, завернула ее в большой платок и поинтересовалась:

— А какой длины валенки-то брать?

— А вот какой: вот от конца пальца вот до этой царапины и будет его ножонка. Я вчера замеряла в Шалове. Ты дай лучину, я сама отломлю мерку.

Марья подала ей лучинку.

— Вот такой размер, тут я прибавила на полмизинца: вырастет.

— Понятно. А маленькие валенки есть у него?

— Есть, я узнавала.

Марья взяла в карман мерку и ушла. Вернулась она нескоро, но зато когда возвращалась — крику было на улице еще больше. В избу она влетела красная, злая, но довольная.

— Сватья, вставай, пляши! Вот тебе валенки!

— А в узле-то чего? — спросила Анисья, свесившись с печки.

— А это рожь в придачу!

— Батюшки светы!.. Да как же он тебе столько отвалил? Тут ведь пуд будет.

— Не пуд, а полтора!

— Батюшки светы!

— Я ему говорю: не дашь в придачу зерна — скандал устрою на весь на наш на район. Дом, говорю, у тебя назад отберем и Проньке вернем, а хлебушко твой — тю-тю! Так он, веришь ли, рад-радехонек, что меня спровадил. Я думаю, не мало ли я с него взяла?

— Что ты! Ой, Марья, милая... Да куда же мне тебя сажать, чем угощать за это?

— Лежи, ледо ледящее! Я сама самовар поставлю. А вот это я у твоей соседки взяла для тебя, для больной.

— Чего это?

— Мясо вяленое. Поедим сейчас.

— Да что ты, Марья!..

— Молчи! Нечего ей рожу-то растить, делиться надо!

Марья была довольна своей победой и ходила по избе гоголем.

— Ну, тебе чего еще надо?

— Теперь бы валенки-то Проне как... Не знаю, когда меня хворь отпустит, а ведь он там в сапогах, захворает.

— Далеко до Шалова,— согласилась Марья.— Тут лошадь бы хорошо взять. Есть в колхозе лошадь-то?

— Есть одна, да разве дадут!

— А у председателя разве нельзя попросить?

— Не даст. Ни мытьем, ни катаньем не даст!

— Как это не даст? Я вот с ним сама поговорю!

Марья в сердцах бросила самоварную трубу на пол, накинула платок и выбежала на крыльцо. Через минуту у избы раздался ее голос:

— Эй! Ребята! Идите скорей сюда! Да идите, черти сопливые, скорей, еще чевокают! Бегите к председателю, скажите, чтобы мигом бежал: бабка, мол, Анисья помирает!

Анисья пыталась унять немного Марью, когда та вошла, поеживаясь, в избу, но гостья отмахнулась:

— Ничего, пускай пробежится! А ты позвала меня и молчи. Я сейчас тут хозяйка, а ты помалкивай.

У Марьи еще и самовар не успел расшуметься, как прискакал Ермолай Хромой.

— Анисья, ты чего? Анисья! — кинулся он прямо к печке.

— Не лезь! — прикрикнула на него Марья.— Вот так, отступи и сядь на порог, снежное ты чучело! Вот так! Ну, а теперь скажи, что мне с тобой сделать? А?

Ермолай растерялся.

В дверь кто-то заглянул, но Марья притопнула на них ногой и накинула крючок.

— Что с тобой сделать? Поленом тебя отходить или в тюрьму упрятать? А? Я думаю, что в тюрьму лучше будет, пожалуй...

Ермолай уже со страхом смотрел на ее хитрое кошачье лицо и невнятно, запинаясь, бубнил:

— Ну, ты чего? Ты чего лаешься? Говори, чего тебе надо?

— А вот и чего! Позавчера лошадь со своей картошкой в

в город гонял? Гонял! Ты — председатель, тебе можно? Сейчас чего на спичках пишут? Все для фронту! А ты — все для себя?

— Да чего тебе надо?

— Вот и скажу, погоди! Я сама видела, если будешь отпираться, что это ты ехал в сумерках. Думаешь, не узнала? Узнала! Я твою курносую харю во тьме кромешной узнаю, не только ли чего!

— Да чего тебе надо?

— А то и надо! Сироту в чужую деревню отдал? Отдал! Помощи никакой не оказал? Не оказал!

«Не оказал,— подумала Анисья, затаив дыханье,— слова-то какие знает».

— Да говори ты, чего тебе от меня...

— Стой! Не оказал! Давай, сукин сын, потаскун паршивый, лошадь. Проньке валенки везти надо!

— Так бы и сказала, а то лается тут... Сейчас запрягут.

— Стой! Сейчас не надо! Подавай лошадь к завтрему, к утру, да человека надежного пошли! Понял?

— Так бы и сказала... Припрутся тут всякие...— проворчал Ермолай и, откинув с двери крючок, шмыгнул за порог.

Марья выбежала за ним на крыльцо без платка и еще долго кричала вслед, грозила что-то. В избу она вошла, поеживаясь от холода, с притворно сердитыми движениями, а в глазах, продолговатых, прищуренных, горела услада.

— Вот так с ним надо! — сказала она.

— Мне так не суметь,— отозвалась Анисья,— это только ты такая мастерица-говорунья. У тебя и батько-то был тоже этакой краснобай: как заговорит — все заслушаются. Это все по кровушке у вас, а у нас в родовой таких и не бывало.

— Вот и худо! — решительно заметила Марья, не скрывая довольной улыбки на своей хитрой, кошачьей мордочке.— Вскипел! Вставай чай пить!

И она кинулась к охваченному паром самовару.

Женщины попили морковного чаю. Анисья снова забралась на печку перевязать ноги, вдруг сильно, наверно от переживания, разболевшиеся опять, а Марья все еще сидела у нее, расспрашивая обо всех деревенских подряд. Когда все новости были уже у нее, она стала жаловаться на скуку в Залесье и ушла по сумеркам в свою деревню.

* * *

В ту ночь Анисья проснулась задолго до рассвета и почувствовала себя на редкость бодро. Ноги ее успокоились, в

руках проступила сила. Но вот в ее голове пролетели события минувшего дня, и она, вспомнив, что Марья взбудоражила всю деревню, нашумела, наврала людям, и те, конечно, подумают, что это ее, Анисьина работа,— заволновалась. Поднялась боль в ногах. Перед глазами плыли злобные лица Одноглазого и Ольги, моргали обидой белесые глаза Ермолая Хромого, и Анисья уже пожалела было, что позвала Марью, но, пощупав под щекой плотные, волглые голенища новых маленьких валенок, она широко и ласково улыбнулась.

Мысль, что эти валенки принесут здоровье и осчастливят маленького Проньку, не только вытесняла все сомнения и стыд за Марьины выходки, но и наполняла Анисью какой-то внутренней радостью... Она уже знала теперь, что к ней обязательно вернется Пронька, и тогда она опять укрепится в этой жизни.

«Вот привезут Пронюшку,— думала она,— и заживем мы с ним не хуже людей. Скотину заведем, чего нам бобылям-те жить? Хорошо вдвоем. И будет у нас: что есть — вместе, чего нет — пополам. Налоги отдадим, ведь солдатики, бедные, тоже есть хотят. Может, мясо мое Степе Чичире попадет во щи или другим...»

Она уже прикидывала в уме, как завести скотину без помощи крестного, как рассчитаться с налогами, долгов по которым набежало много, но их она не пугалась теперь, зная, что не побоится привычной работы. Ей виделось, как она входит в свой хлев, как пахнет ей в лицо теплом животных из загородок, где будут весело жевать сено юркие овечки, тянуть из заклети мокрую губу теленок, а за перегородкой из досок опять станет хрюкать и лениво чесаться солощий лопоухий поросенок...

Анисья услышала, что к избе подъехала лошадь, и, не дожидаясь, когда постучат, заторопилась отпереть дверь.

— Ишь какая чуткая! — заметил Ермолай, а когда вошел в избу, тихонько спросил: — Ушла?

— Вчера еще ушла,— заверила Анисья,— а ты чего это так рано, еще и ночной не проходил?

— В такую даль — не рано.

— Сам надумал ехать?

— Съезжу — да и в сторону это дело! — угрюмо отозвался Ермолай, видимо сердясь на Анисью.— Давай валенки-то, что ли!

Анисья подала ему валенки, сунув их голенищами один в другой.

— Не потеряй дорогой. Посматривай!

— Я, чай, не грудной ребенок! — проворчал он, и, расстег-

нувшись, сунул валенки под рубаху, за кушак штанов.— Ты не думай, что за Проньку только у тебя у одной душу щемит. Поняла?

— Я не думаю. А ты вшей не напусти в валенки-то. Да смотри не сгибай себя: не переломились бы голенища, новые ведь...

— Не грудной, тебе говорят!

— Ну, поезжай, да на вот отвези Пронюшке мясца кусочек,— подала она Ольгино мясо, завернутое в холщовую тряпку.

— Давай вот сюда.— Он вынул из кармана маленький сверток.— Это моя ему кое-что посылает.

— Ермолай...— остановила его Анисья у самого порога.

— Чего?

— Ермолай...

— Ну чего, говори.

— Может, привезешь его сегодня, а? Ты скажи им там... а?

— Ладно.

Анисья вышла на крыльцо и стояла там на морозе, пока не пропал в ночи топот лошади.

...Ермолай вернулся вечером усталый, зашел прямо к Анисье и сказал, что пока Пронька побудет у них: хлеб еще не кончился.

— А потом отпустят? — спросила Анисья.

— А потом вроде как они и не против. Старик сказал, чтобы ты не впадала в расстройство.

* * *

Анисья потеряла счет дням и ночам. Сначала она думала, что Пронька придет к ней сразу, как только отвезут ему валенки, потом, после приезда Ермолая, она мысленно положила на ожидание две недели, но прошел уже месяц и наступил другой, а Проньки все не было. Зима шла на убыль. Дни становились длинней и ярче. Солнышко с утра ударяло в кухонное окно и заглядывало прямо на печку, бодря и тревожа. Она чувствовала, что очень скоро придет весна, и мысли о ней будили в Анисье радостные грезы. Ей опять казалось, что они с Пронькой высадят на огороде все овощи и посеют мак. Он поднимется у самой избы вровень с частоколом, густой, пышный, заглянет в окошко, а Пронька наклонит ручонкой алый бутон и пощекочет свой веснушчатый нос...

Однажды она сидела на лавке и, греясь на солнышке, любовалась сквозь оттаявшее стекло стаей снегирей...

Красногрудые мелкие птахи резвились на березе. Вдруг вся стая насторожилась, а в следующую секунду испуганно шаркнула в сторону. Белой метелью осыпался иней и медленно оседал на плотные, по-весеннему осевшие сугробы.

У избы послышался шорох, потом голоса, а в окошке закачалась и остановилась над черной лошадиной гривой треснувшая у кольца дуга. Анисья глянула с бьющимся сердцем и увидела шаловского старика с косматыми бровями, он топтался около лошади и неторопливо давал ей сена. Анисья встала, чтобы лучше рассмотреть, кто приехал еще, но в это время хлопнула дверь — и у Анисьи подкосились от радости ноги.

У порога стоял улыбающийся Пронька.

— Мама, я пришел...— сказал он и снял шапку.

* * *

Лето. Благодатная июльская теплынь. Позади полустанок, еще слышен запах шпал, а впереди, вот уже под самыми ногами,— мягкая проселочная дорога, та самая, что опять ведет в Залесье, в прошлое...

С той поры прошло больше четверти века. Много за это время исхожено дорог, счастливых и трудных, но памятнее этой нет. Она самая большая: с нее начиналась жизнь...

Рядом идет-трудится на деревянной ноге Степан Чичира, он к тому же глух с войны и, не слыша, без умолку говорит:

— Ай молодчина! Опять приехал — хорошо! Не канул в городе без следа, как другие. Эвона в какого человека высадил, а не горд: навещаешь. Ну и ладно!..

Отрадно слушать эту простую речь, видеть знакомый лес за кладбищенским угорьем и, наконец, деревню в ольховом охвате и поля. Их дали тонут в синеве горизонта, зеленея лугами, отливая желтизной льна. И хорошо, что живы на ней эти люди, лучшие из которых я хочу, чтобы повторялись в нас и после. Я знаю: в любую невзгоду только на них я могу положиться и, может быть,— они на меня.

На самом краю деревни, у огромной, кряжистой березы,— там, где стояла старая изба, теперь пусто. Крапива. У самой дороги — полувтянутый в землю разбитый жернов. Посреди огорода, теперь пустого и заброшенного, как знаменье века — новый столб на высоком цементном пасынке. Гудят провода. И грустно и хорошо...

Из травы и бурьяна пробился одичавший мак и весело алеет над всем. Я подхожу к нему, бережно трогаю губами его бархатные лепестки и снова шепчу:

— Мама, я пришел...

Василий Алексеевич Лебедев

МАКОВ ЦВЕТ

Повесть

Редактор И. Плахотникоаа
Художннк В. Тё
Художественный редатор Г. Саленков
Техническнй редактор В. Юрченко
Корректор И. Рудакова

ИБ № 4007
Сдано а набор 19.03.85. Подписаио к печати 24.04.85. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать аысокая. Бумага тип. № 1 кн.-журн. Усл. печ. л. 2,52. Усл кр.-отт. 2,73. Уч.-изд. л. 2,93. Тираж 850 000 экз. Заказ 726. Цена 20 коп.

Издательство «Соаременник» Государственного комитета РСФСР по делам издательста, полиграфни и книжной торгоали и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошеаское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Соаременник» Росполиграфпрома Государстаенного комитета РСФСР по делам издательста, полиграфии и кинжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30


20 коп.